

18+

Елена Богатырёва

ТРИ СУДЬБЫ



Елена Богатырева

Три судьбы

«Издательские решения»

Богатырева Е.

Три судьбы / Е. Богатырева — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-853812-4

Когда в один клубок сплетаются несколько судеб, концов не найти. И чтобы выбраться из мертвой хватки событий, приходится жертвовать ближними. А уж если ты обладаешь чудесным даром, стоит ли искать причины своего падения в древних пророчествах?..

ISBN 978-5-44-853812-4

© Богатырева Е.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
ЧАСТЬ 1	11
1	12
2	17
3	20
4	28
5	34
6	41
7	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Три судьбы

Елена Богатырева

© Елена Богатырева, 2020

ISBN 978-5-4485-3812-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

© **Елена Богатырева**

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца авторских прав.

Сайт автора <http://elenabogatyreva.ru/>

Пролог

*«Как будто это ложь, а это труд,
Как будто это жизнь, а это блуд,
Как будто это грязь, а это кровь...»*

И. Бродский

Сибирь всегда была сама себе царством. Подумаешь, Москва! В Сибири на золотых приисках мощна и потолще водилась, чем у москвичей. А что от царей вдали, так ведь это только к лучшему. От власти подале – здоровее будешь. Сюда на ссылку справляли. Оттуда, из Москвы. Чахли они на сибирской земле. Не климат. А кто в этой «ссылке» родился, те понять никак не могли – чего люди чахнут.

Вот говорят – Ермак. А что Ермак? Пришел Ермак, ушел Ермак, а Сибирь все равно осталась сама по себе. И с Ермаком кто пришел, остались многие, осели, детей родили. Трудно жили, с местными на ножах поначалу. Потом потише стало. И отец Федора – из них был.

Сколько дорог Федор верных знал сквозь болото, в дремучем самом лесу никогда бы не заблудился, сколько раз мужиков своих уводил по нужным тропкам от врага, а вот тропки, по которой счастье свое находят, так и не угадал. Хотя как женился, поначалу ему казалось, что и здесь – удача полная, что и здесь угадал он, как всегда. Жену взял за красоту, за косу длинную, за брови собольи, за фигуру статную. И прожил несколько месяцев в угаре этой красоты и мужской своей к ней тяги. А потом – как пелена спала. И увидел он, что жена-то его не по любви замуж пошла, а только желая в богатстве жить, в собольи шубы кутаться. И хитрости в ней – тьма, и коварства – прорва. Но самое главное – жадности много, отчего вся его ласка к ней и кончилась. Претила ему жадность больше всего на свете.

Перестал Федор к жене своей в спальню наведываться, а ей и так хорошо. К тому же понесла она от его первой же бурной страсти и в положенный срок разродилась девочкой. Плюнул Федор и разделил дом на две половины, строгую границу провел и заказал жене ее переступать. Сам на охоте неделями-месяцами пропадал, на медведя с ножом ходил, коней загонял в летнюю пору. Мрачный стал, как бес, злой, как пес цепной. И все это в себе держит. Некуда выплеснуть. Нечем утолить.

Так и жил, пока однажды не нарушили его границу. Прибежала с другой половины со смехом девчонка и на пол бухнулась, запутавшись в длинном сарафане. Да не заплакала, а засмеялась пуще прежнего. И Федор засмеялся впервые за последние годы, до того потешно было смотреть на нее. Подошел, поднял, поставил на ноги.

– Кто такая? – нахмурил притворно брови.

– Настенька, – ответила девочка и потянула ручки к его бороде.

Так и познакомился Федор со своей дочкой. И вслед – со своим счастьем. Прибежала за девочкой с жениной половины кормилица Акулина, увидела Федора и залилась краской. Да и у него сердце огрубевшее вдруг встрепенулось. С этого и началась другая совсем жизнь.

Федор был человеком не то что бы не практичным, но уж больно порывистым. И говорил и думал цветисто, с воодушевлением. Сердце у него было большое, чувства много умещалось. И не каждый бы выдержал, вылей он все это на одного-то разом. А тут сразу две женщины вошли в его сердце, чувства разделили.

Пошла другая жизнь. Тайная, сладкая. Никто про Акулину не прознал. Прознали бы – со свету бы ее сжили. А так, вроде все тихо – приводит дочурку к батюшке, а вечером назад, через границу, да с подарками матушке: то золотой перстень принесет от мужа, то лисьи шкуры в охапке притащит, то мешочек с серебром. Жене и довольно того. И так долгие годы...

Дочка росла красавицей. И отец в ней души не чаял. Возьмет на руки и все рассказывает ей, какая она особенная да распрекрасная: «Тебя, Настя, ждет в жизни чудо необыкновенное», – обещал.

Настя выросла от этих отцовских воркований действительно на всех непохожей. В пятнадцать лет стала такой красавицей, какой второй несешься. Сваты навевались уже к отцу не раз. Да разве отдаст он дочь за соседа? Тю! Разве отдаст хотя бы и ровне? Нет, его дочери удел княжеский на роду написан. А может – и царский. «Тебя чудо дивное ждет, – все повторял. – Ты на наших парней не смотри». А она и не смотрела. Она тоже чуда дивного ждала. Ей ведь отец его сызмальства обещал. Вот-вот уже случится.

Времена менялись. В Москве Никишка лютовал. Сказывали, сам царь-батюшка ему в ноги кланялся. Срам какой! А как взялся Никон за святыни отцовские, так и повалили ссыльные в Сибирь. Слова новые появились: «староверы», «раскольники». Говорят, самого Аввакума сюда сослали. Да только в Сибири двуперстное знамение так и не вытравили. Соловки все к столице ближе. Поэтому восемь лет их в осаде и держали. А Сибирь-матушку в осаду не возьмешь. Она же бескрайняя. Никакого войска не хватит. Здесь не только в скитах старую веру берегли. Здесь и в самых людных церквах двумя перстами лоб осеняли.

Никто в стороне не остался от раскола. Федор, несмотря на то что отец его москвич коренной, тоже к старым обрядам больше склонялся. Только у него с верой отношения были сложные. Бога он с Акулиной не мешал. Решил – пусть адское пекло, но потом, после счастья земного, до дна испитого. А на земле устраивать себе ад не желал.

Жена же Федора стала ратовать за веру старую, чистую. Да такое рвение в ней вдруг проснулось, все по скитам ездила: молилась, праздники справляла, продукты туда возила, даже золотишка не жалела. Неделю в одном ските проживет, неделю – в другом. Но в монахи не смогла, не решилась. Особенно когда пожары по тайге пошли. То с одной стороны, то с другой приносила людская молва весть о том, что староверы ссыльные запирались в избу всем скопом вместе со стариками и с детишками малыми и поджигали себя сами. Летом, особенно в засуху, в таких местах тайга еще долго горела потом. Приносило к их поселению дым едкий, страшный.

С дочерью мать почти не разговаривала и не виделась. Замуж бы выдать скорее, чего отец ждет? Смешно. Верно, самого цесаревича. Да не приедет никакой цесаревич в их земли суровые. Разве что какой ссыльный боярин объявится. Да и девка их не подарок – высоченная, кость широкая, нога – что у мужика. Сильная, как мужик, да и повадки отцовские, дурной характер сказывается. На охоту он ее всегда брал с собой, так она теперь по тайге и без него бродит. Дурочкой выросла, вот мать и чуралась.

А у дочери и вправду странностей – хоть отбавляй. Выйдет на берег крутой, сядет там, подобрав ноги, и смотрит часами, как вода бежит в реке. И не двигается. Разве девки такие у соседей?

Все ждет чего-то. Чуда дивного. Юродивая – одно слово. Хоть и лицом – чистый ангел...

Пришла Настя на утес как-то утром, посмотреть на солнышко восходящее. То ли томление какое ее гнало, то ли предчувствие. Только не успела она подняться на кручу, глядь, а у самого обрыва великан стоит, а вокруг него – сияние. Замерла Настя. Дышать перестала. Не от страха – от восторга непонятного. Стоит человек, а позади него встает солнце огромное и краешек его над головой, словно нимб. Только вот лица не видно. Кто же это? Таких здоровенных ребят в их округе и не знала она никого. Подошла без боязни, весело, в лицо взглянула. А человек – удивительный. Глаза черные, а разрез необыкновенный. Не татарский даже. Тех она хорошо знала. Лицо золотое. Никогда она таких людей не видела. И вдруг поняла – вот оно, ее диво дивное. Он с ней – говорить, а она смеется, ничегошеньки не понимает. Смешной у него язык, как птица щебечет. Дивный человек, ни на кого из местных не похож.

Заглянула в его глаза Настенька – и пропала. Об отце и матери позабыла, ушла с человеком чудесным. Отец ее года два искал. Всех на ноги поднял, все дорожки знакомые и незнакомые объехал. Говорили ему – зверь унес. А он не верил. «Не для моей дочки участь», – все твердил. Верил, что объявится его распрекрасная Настасья. Но через два года, видать, и он веру всякую потерял. А через три объявилась Настенька родителям. Да не одна, а с ребеночком. Девчущку двухлетнюю привела за собой.

Мать как внучку увидала, сплюнула и ну креститься: раз перекрестилась, другой, третий хотела, да не смогла. Повисла рука ее в воздухе, а внучка смотрит на нее и смеется. Да и отец Настю встретил неласково. Обида вдруг у него вылезла: почему родителю не объявилась? Почему убежала? А тут еще Акулина ему шепчет на ухо: «Ты посмотри, как детеныш этот женушку твою усмирил. Где ж это видано, чтобы хозяйка твоя вот так без крику удалась? Ведовство...» Пригляделся Федор к девочке: волосы черные по плечам растрепались из косы, глаза раскосые, а кожа золотом светится. Что за чудеса?

А Настя к отцу на грудь бросилась, стала рассказывать:

– Встретила я свое диво дивное. Как во сне живу, не сказать. Это дочка моя Олюшка...

Как ни любил отец дочку свою единственную, как ни спорил и ни ссорился с Богом ежедневно, но возропало его сердце. Басурман увел дочку его, да не здешний какой-то, не кучевский. Сарацин поганый. Силой держит – не иначе. Иначе давно бы прибежала к своему батюшке. Изничтожить проклятую гадину. Истребить!

А дочка все сказки рассказывает. Будто сарацин тот из знатного китайского княжеского роду-племени. Что пошел он по земле, потому что услышал зов ее. Она звала, а он шел к ней через горы и реки, по чужой земле. Она звала, а он закрывал глаза и видел ее как наяву, как отражение в озерной глади. Сказки. Может, он и вправду колдун какой, раз она всей этой нечисти верит и радуется.

К вечеру дочка прощаться стала, девчурка к ней прижалась полусонная.

– Да куда же ты пойдешь? Поздно уже! Оставайся, – просит отец.

– За меня не волнуйся. – И во двор выскочила.

А отец слезу напускную утер, дверь запер, а сам через заднее крыльцо – и за ней. Он давно приказал оседлать коня самого быстрого да выносливого. Сел и вслед за пешей своей дочерью медленным шагом едет. Отошла дочка от отцовского дома с полверсты, а тут как изпод земли человек на коне вынырнул. Огромный такой, плечи – как у богатыря. Подхватил Настю с Олюшкой и поскакал. Отец поодаль ехал, дорогу запоминал, прикидывал в уме, куда они путь держат. Через четыре часа остановились, показалась изба. Да только избой ее назвать никак невозможно. Чудная. Хоть и из дерева, а таких здесь никто никогда не строил.

Стали они входить в дом, а сарацин-то на пороге обернулся и прямо в глаза Федору посмотрел. У Федора в тот же час память отшибло: ничего не помнил, как домой добрался, как с коня сошел. Только когда жена его толкать да трясти начала, он и очнулся. Стал вспоминать, что и как, да так и охнул – точно ведовство. И впервые за долгие годы стал он слушать свою жену да головой кивать. А она не столько говорила, сколько крестилась да на иконы показывала. В эту ночь замышляли они спасение дочери, только невдомек им было, что никакое спасение ей не нужно, что жизни своей она не нарадуется, на своего суженого не наглядится...

Федор долго потом не мог прийти в себя. Ничего понять не мог. Говорил как-то бесвязно, плакать начинал, как ребенок. Жена все взяла в свои руки. Акулину прогнали со двора. А сама дни напролет все сидела около мужа да то шепотом, то криком, то со смешком, то с патокой в голосе сказывала о том, какой бес нынче всех попутал. Страшное говорила. Как люди все с ума посходили. Как веру святую предали.

– Антихрист грядет! Прямо из самой Москвы! А уж у нас здесь есть ему где разгуляться. Сорок мучеников на той неделе за нас смерть приняли. За чистоту веры нашей. Как же ты хочешь от мировой напасти в стороне остаться?

Федор мало что из ее речей понимал. Даже и представить себе не мог, что его жена такая говорунья. Слов-то связных от нее никогда не слыхивал. А тут – как по маслу ведет, как по писаному говорит.

Значит, правда в ее словах. Значит, нужно истребить ведьмака-злодея.

– И отродье его.

– И отродье.

– А Настьку – в скиты. Отмолит грех свой, Бог даст.

– Отмолит.

Через неделю Федор, полыхая праведным гневом, с мужиками местными двинулся искать дочку. Долго плутали, но все-таки отыскали то, зачем пришли. Отыскали и стали ждать. Олюшка из дома выбегала разика два. Настя раз показалась. Воду черпала из бадьи дождевую. А под вечер и сам ведьмак воротился. Посмотрел на него Федор, когда солнышком закатным его осветило, и последние сомнения его отпали. Никогда таких людей не видел. Громадный, как скала. Желтый, как масло. В Сибири люди всякие водятся, но таких отродьясь не встречал.

А дальше, как выскочила из дома Настя за какой-то надобностью, так схватили ее под руки два мужика. А другие к дверям и к окнам кинулись. За Настасьей-то девочка выбежала. Стоит и глазенками хлопает. Мужики двери и окна заколачивают, ружья готовят, поджигают. Настя кричит не своим голосом, да не по-русски, а на языке неслыханном, поганом. Ведьмак из дома тоже кричать стал. В дверь колотится. А огонь знает свое дело, побежал по стенам, на крышу забрался. Полыхнуло пламя жаркое.

Увидав это, Настя рухнула как подкошенная, а Федор про девчонку вспомнил, стал искать ее среди людей. Стоит она в самом центре, а мужики мимо нее бегают, словно не видят, но и не натываются на нее, однако. Глянула она на Федора, у него сердце упало. Отродье. Глаза как у отца – раскосые, разве что голубые, Настины. Ведьма. Хоть и малолетняя, а все одно. Подошел к ней Федор решительно, посмотрел в последний раз перед тем, как в пекло кинуть. А она глаз с него не спускает...

Снял Федор кафтан, накинул на девочку.

– Застынешь, чай не лето, – сказал почти ласково.

Мужики к нему бегут, хотят девочку оттащить, а Федор встал грудью.

– Не тронь внучку. Башку расшибу.

Они и отстали.

Из горящего дома больше не доносились ни крики, ни удары. Только пламя полыхало жарко. Олюшка плакать перестала, на огонь засмотрелась. Сначала искры пошли от пламени во все стороны, мужики подальше разбежались. Потом стало пламя спадать, хотя половины еще дома не выгорело. Замерли все как вкопанные, страх одолел. А пламя станцевало разок-другой на последней дощечке, вспыхнуло напоследок белым светом и пропало. Мужики стоят крестятся, кто-то от страха начал в воздух палить. Все ждут, что сейчас ведьмак покажется живехонький.

Но никто не появился. Самый смелый полез через обгоревшие доски в дом заглянуть. И кричит радостно:

– Сгорел! Весь сгорел! Обуглился!

Только прокричал – и кубарем скатился со стенки. А вслед за ним, весь черный, окровавленный, полез сам дьявол. Ох, что тут сделалось! Даже Федор оцепенел от испуга. Кто кричит, кто бежит, кто палит... А Федор только крепче Олюшкину ручку сжимает.

Черт-сатана на них надвигается и как будто говорить что-то хочет. Булькает в горле воздух, а слова ни одного не разобрать. Хорошо, Никитка выручил. Опомнился от страха да пальнул в чародея пару раз. Тот и пал замертво.

Олюшка подошла к нему, нагнулась, затараторила что-то на тарабарском языке, гладит по голове обгоревшее чудище. Увел ее Федор от греха. Мужики коситься стали, перешепты-

ваться. Уж больно ребенок-то странный уродился. Никак в родителя! Ехали домой и все глаз с Олюшки не спускали. А ведьмака даже закапывать не стали, бросили на съедение зверям лесным. Туда ему и дорога... И лошадей его пристрелили. Говорят, у тварей этих и лошади околдованы.

Настя так в чувства и не пришла, как упала тогда, огонь завидев. Сначала дышала, а под вечер, как домой привезли, и дышать перестала. Жена на Федора чуть ли не с кулаками набросилась: почто девчонку привез? Да он как ударит кулаком по столу, как посмотрит на нее из-под лохматых нахмуренных бровей, так она и умолкла. Однако затаила на внучку ненависть, решила потихоньку известить ее.

Только и девочка не то чтобы разобралась, но почувствовала скоро, кто здесь ей погибели желает. Зовет ее бабушка поиграть, ленточки показывает яркие, бубенчики, а Оля смотрит на нее не мигая...

А жена-то Федора с тех пор, как девчонка в их доме поселилась, занемогла. Сначала животом маялась, спасу не знала, потом руки заболели, хоть караул кричи, а под конец совсем слегла и померла.

ЧАСТЬ 1

*«...как будто это ты, а это Бог,
как будто век жуужжит в его руке...»*

И. Бродский

1

(Дмитрий)

Когда Диме Серову исполнилось пятнадцать, он бросил школу. Никто не стал его удерживать, потому что никто не мог ему помочь. Все понимали... Он был первым по всем предметам, но никто не мог ничего поделать.

Солнечное детство оборвалось в одночасье. Они с матерью возвращались из кино. Стоял теплый день. Настроение было чудесное. Они шли вдоль невысокой ограды парка, вспоминали фильм и смеялись.

Он не видел, как это произошло. Мать вдруг толкнула его с такой силой, что он полетел через ограду, лицом в колючий кустарник. За спиной что-то прогрохотало, скрип, крик – и стихло. Пока он поднимался, выдираясь из колючих веток, пока оборачивался, на улице повисла зловещая тишина.

Мать лежала на земле, неестественно вывернувшись. Он перелез через ограду, подошел к ней неуклюже, стал тихонько толкать, спрашивая: «Мама? Мама?» Неожиданно хлынувшая кровь перепугала его до смерти, но он быстро сообразил, что течет она из его разбитого носа...

Дима поднял взгляд. Поодаль на тротуаре, с другой стороны дороги, стояли люди.

– Да помогите же кто-нибудь! – заорал он срывающимся фальцетом.

«Скорая» приехала быстро. Но до того, как она приехала, какая-то старуха, ни на минуту не умолкая, говорила ему что-то про машину, про водителя пьяного, про то, какой он негодяй, что не остановился. Дима очнулся, когда она стала требовательно трясти его за руку.

– Есть чем записать-то?

– Что?

– Ну ручка там, карандаш какой...

– Нет.

– Тогда запоминай.

И она несколько раз повторила ему номер машины, которая сбила мать.

Полгода мать провела в больнице. В доме стало холодно и неудобно. Меню теперь состояло из макарон и горохового супа из брикетов. Отец морщился, но молчал. А Диме было все равно, что есть. Он, не чувствуя вкуса, глотал холодные слипшиеся макароны. Все это ерунда, лишь бы она вернулась. Третья операция стала решающей. «Она больше никогда не сможет ходить, – сказали врачи, выдав кипу справок, – но, возможно, проживет долго». Нужно было получить специальное кресло на колесах, купить лекарства. «В Англии, – говорили врачи, – сейчас появилось одно лекарство... Конечно, если у вас есть возможность...»

Этим же вечером отец вошел в квартиру и рухнул на пороге – был мертвецки пьян. Димка плакал и тащил его огромное, неподъемное тело в комнату, попытался уложить на кровать, но не смог. Так и оставил у кровати на ковре, укрыв одеялом. Утром он попросил у отца список лекарств, которые нужно было купить для матери. Тот, плохо соображая, протянул ему смятый листок, отслюнявил несколько пятерок.

Дима обегал три аптеки. Больше всего его поразила металлическая посуда – утка, которая тоже числилась в списке. Оставались деньги. Он купил цветов – три красные гвоздики. Все-таки она возвращается!

Отец, увидев цветы, взревел как раненый зверь. Дима даже не предполагал, что он умеет ругаться матом так же грязно, как любой уличный пьяница. «Какие к... матери цветы? Праздник, что ли?! Похороны у нас сегодня, слышишь ты, ублюдок, похороны! А ты на последние деньги...» Лицо у отца было мятое, а изо рта воняло, как из сточной канавы. Он ревел как зверь, слюна летела аж через всю комнату.

Отец бросил их не сразу. Но все к тому шло с первого дня ее возвращения. Когда мать говорила, что ей нужно по нужде, Димка выскакивал из комнаты как ошпаренный. Она даже этого сама не могла... А когда возвращался, заставлял матерящегося отца и ее, униженно глядящую в пол.

Он ушел через два месяца. Не глядя на мать, быстро собрал свои вещи, складывая аккуратно в новенькие чемоданы – они собирались на юг перед тем, как все это с ней случилось. Забрал ровно половину кастрюлей и тарелок, вилок и чашек. Из двух занавесок, висящих в зале, забрал одну.

Мать следила за каждым его движением. Она не верила в происходящее. Она думала, что он пугает ее. Она была согласна на любые условия, даже переехать в дом инвалидов. Только когда хлопнула входная дверь, она забилась в истерику. «Господи, почему я не умерла, ну почему, Господи!» – выкрикивала она, рыдая. Димка бегал вокруг со стаканом воды. Вечером она успокоилась, попросила принести ей бутылочку из кухни, с белой полочки у стенки, рядом с горчицей. Дима нашел, открыл, понюхал и вылил в раковину. Эта была уксусная эссенция.

Нужно было найти сиделку. Нужно было кормить мать, покупать лекарства, платить за квартиру, как-то жить. Все упиралось в деньги. Он продал ее серьги и золотую цепочку с крестиком. Какой уж там Бог! Деньги становились богом. Он молился на этого бога денно и ночью.

Тогда-то он и ушел из школы. Никто его не удерживал, никто не предложил помощи, ничего не посоветовал. Ему смотрели вслед, будто он прокаженный, и каждый мысленно повторял: «Чур меня!» Дима пошел на завод учеником. Уговорил соседку-пенсионерку ухаживать за матерью, пока его нет дома. Та согласилась за пятьдесят рублей. Он ждал первой зарплаты как пришествия. А через две недели после того, как расписался в ведомости, понял – им не прожить на эти деньги. Даже если есть одни макароны...

Хохарь давно ходил под их окнами. «Дурак ты, Димыч. На заводе много не заработаешь...» Но с Хохарем ему было не по дороге. Димка знал, откуда те мотоциклы да мопеды, на которых он время от времени разъезжает. Таскает по подвалам, а потом – продает. Не моральные соображения останавливали его – никакой морали больше не существовало. Его останавливало то, что за воровство можно сесть. И что тогда будет с матерью? Она ведь руки на себя наложит. И так не раз уже порывалась...

Он снова вернулся к одноклассникам. Не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы потихому сбывать идущие нарасхват модные диски, красочные полиэтиленовые пакеты, джинсы с потертыми коленями, браслетики-недельки, от которых визжали девчонки. Девочки вешались ему на шею, некоторые предлагали себя вместо денег за его побрякушки. Нутро полыхало, но он неизменно отвечал: «Не сегодня, дорогуша. В другой раз...» Деньги ему были нужнее.

Однажды он принес Валерке три кассеты «Битлз». По пятерке каждая. Они так договорились. Дверь открыл его отец, втащил за руку в комнату.

– Ты чем занимаешься, дурень! За это же и посадить могут.

Димка испугался, рванул руку, но тот держал крепко.

– Пойдем!

Привел в комнату, усадил с ними обедать. Предатель Валерка, глядя строго в тарелку, ковырял вилок курицу.

– Ешь.

Ничего не понимая, Дима принялся за еду, пока не увидел, как смотрит на него Валеркина мама, прижав кулак ко рту, а в глазах слезы. Хотел уйти. Но аппетит оказался сильнее гордости. Съел все, что дали, ничего не смог с собой поделаться. Отец Валерки сходил в соседнюю комнату, принес деньги – пятнаху, как и договаривались. Дима встал.

– Подожди, сейчас еще чай будет.

Мать поспешно побежала на кухню и вернулась с большим подносом: чашки, варенье, сахар. По голубым обоям плавали отсветы заката.

– Ты о будущем думал?

– А что?

– Тебе сколько сейчас?

– Пятнадцать.

– Всю жизнь фарцой заниматься собираешься?

– Кирилл! – прервала его с досадой жена. – Не с того ты начал. Ты, Дима, не думай. Мы все понимаем. И очень тебе сочувствуем... – Голос ее задрожал. – Но ты подумай сам: через три года в армию. С кем мать останется? Если бы ты был единственным кормильцем в семье, тебя бы не взяли. Но ведь твои родители не развелись.

Слова прозвучали как приговор. Дима никогда не заглядывал дальше завтрашнего дня. Он смотрел теперь на нее как утопающий, как безнадежный больной. Отец давно махнул куда-то на север и адреса не оставил.

– В армию берут не всех, – заторопилась она. – Правда, Кирилл? Сейчас студентов не берут. Тебе обязательно нужно учиться. Ты ведь отличником был, правда?

– Но почти год прошел...

– Это ничего. Ты знаешь, что наш папа, – она обняла мужа за плечи, – директор техникума. Подготовишься к осени и поступишь сразу на второй курс.

– А работа?

– Он тебе стипендию выбьет. Повышенную. Еще на пять рублей больше получать будешь, чем на заводе. Подумай!

Так он снова пошел учиться. Но у него уже был бог. И он продолжал служить ему верой и правдой. Была и цель – раздобыть то самое английское лекарство, чтобы приостановить убийственные процессы в сосудах, которые все-таки постепенно развивались. Нужно было выше своей головы прыгнуть, из собственной шкуры вылезти, а раздобыть денег. Кирилл Степанович внимательно наблюдал за своим подопечным. И Димка учился «честно» лгать, хитрить, недоговаривать, устраиваться так, чтобы никто ничего не знал о его делишках вне техникума.

Он теперь связался с прорабом одной из центральных строек города и занимался сбытом стройматериалов. Меняли первый сорт на второй, высший – на первый. Похуже – в строящийся дом, получше – богатеньким гражданам. Кто ж будет отрывать собственную трубу в сортире или, скажем, плитки со стены, чтобы убедиться, какого они сорта? Никто. Ему полагалось за это двадцать процентов прибыли. Но он не роптал. Прораба всегда могли взять за жабры. А кто такой Димка и где его искать, не знал никто. К тому же и не Димой он представился доброму дяде прорабу, а Вовчиком.

С фарцой Дима контактов тоже не утратил. Навещал иногда старых друзей. Ряды их редели. Кто сел, кто под следствием находился. И Дима затаился. Продавал товар через знакомых, в основном девчонкам из педагогического института, который стоял как раз напротив их техникума. Он теперь не отказывался порой, когда за товар предлагались девичьи услуги. И даже появилась у него постоянная подруга Танечка. Он носил ей тушь, помаду, трусики-недельку. А она продавала девчонкам-однокурсницам. Танечка жила в богатой квартире: чешская мебель, немецкое пианино, везде цветы в горшках. Расстались они неожиданно: соскучившись, Танечка как-то раз решила навестить своего ухажера. Принарядилась, накрасилась и явилась к нему домой.

– Привет! Не ждал? – радостно улыбалась на пороге. – Не пригласишь зайти?

Он задохнулся. Пустить ее сюда? В их обшарпанную квартиру с протертым до дыр линолеумом? Где с потолка сыпется штукатурка, а по углам снуют тараканы? И, самое главное, где мать...

– Не приглашу! – выдохнул он и захлопнул дверь, защемив ароматное облако ее «Шанели».

Она больше не звонила. Да и он не интересовался ею. Нашел себе другую «продавщицу», специально выбрал победнее – отца нет, мать уборщица. Приручил поцелуйчиками, редкими цветочками и сухим винишком. Она для него мать родную продала бы. Только вот теперь он не назвал ей ни адреса своего, ни телефона, ни настоящего имени.

После случая с Танечкой у Димы появилась мечта – чтобы дом его был всем на удивление. А для начала хорошо бы сделать ремонт. И не какой-нибудь. А чтобы мать ахнула. Чтобы паркет. И обои на стенах. Как у людей. Он полез на антресоли, собираясь выбросить скопившийся там хлам. Среди старых отцовских вещей, которые тут же без всякого сожаления полетели в мусорное ведро, нашел свои детские рисунки. Выбросить – рука не поднималась. Но рисовать теперь времени не было, и он с сожалением, но методично, один за другим стал разрывать их пополам и бросать в мусорное ведро.

Один из рисунков, где чернел в тумане пиратский корабль, был весь испещрен мелкими цифрами и буквами. Дима нахмурился, сел и вдруг хлопнул себя по лбу ладонью. Господи! В памяти всплыло все: мать, скорчившаяся на асфальте, старуха и этот номер. Как же он позабыл! Сидел тогда дома, вернувшись из больницы, в тот самый страшный первый день и чертил эти цифры, не понимая, что делает. И ведь ни разу не вспомнил за все это время! Вот они, деньги! Бери – не хочу!

Выяснить, что это за машина и кто ее хозяин, помогли ребята-фарцовщики. У них был мент знакомый, для прикрытия, они ему процент отстегивали. Попросили – он и выдал всю информацию. Соловьев Олег Ефимович. Сорок с хвостиком. И самое приятное – заместитель директора фарфорового завода.

Пять лет потом, до самой маминой смерти, этот Соловьев отстегивал Димке половину своей немаленькой зарплаты. Пять лет грехи замаливал, как мог. Не сам, разумеется, самому ему и в голову бы не пришло. Посредством умелого шантажа и тонко рассчитанного запугивания.

К тому времени Димка был птицей стреляной, умел все. У него появились постоянные подручные, а у тех свои подручные. Теперь он взял за правило работать через подставных, никто не должен был знать его в лицо. Только самые близкие. А близким этим он устраивал проверочки в первые же дни знакомства.

Приходил все тот же фарцовочный мент к ним на дом, скручивал руки наручниками, сажал напротив себя и принимался как бы протокол строчить, вопросы всякие каверзные задавать. Кто это такой? А это кто? Чем занимается? Если дружок не ломался в течение часа, то зарабатывал со временем все больше и больше под Диминым крылышком. А если ломался, то тот же мент брал с него подписку о неразглашении, а среди друзей-товарищей парень с тех пор недосчитывался Димки.

Мать никогда не спрашивала его – откуда деньги. Боялась, наверно, узнать правду. Особенно с тех пор, как он преподнес ей подарок.

– Мам, ты к тете Лизе перейдешь на время...

– Что случилось?!

– Да не пугайся так! Ремонт хочу сделать.

– Это ведь долго, – умоляюще смотрела она на него.

– За неделю управлюсь.

Пять человек одновременно вкалывали в их двухкомнатной квартире. Паркет с рисунком, обои немецкие, кафель на кухне и в ванной сиреневый. Новая кровать для матери, на стену ковер, чтоб ей теплее, на пол тоже, только в большой комнате, там она любит читать. Кухонный гарнитур польский. Шкафы из карельской березы.

Она, когда он ее прикатил, ахнула – и все. Испугалась. Чуть не заплакала. Слишком богато, слишком хорошо. Потом они разговаривали.

– Мама, я ничем таким не занимаюсь...

– Поклянись!

– Клянусь!

– На иконы смотри!

– Клянусь!

– Милый мой, неужели столько денег человек может честно заработать?..

– Конечно, мама!

Но в том, как прямо она сидела теперь в своем инвалидном кресле, уже сквозила гордость. Гордилась сыном. Все смотрите: отец бросил, мать – инвалид, а он вон какой! И зарабатывает, и для матери старается. А лег-то ему еще – мальчишка сопливый. По паспорту, если годы считать. Только к этому мальчишке со временем пожилые люди, которые его еще с пеленок знали, по имени-отчеству обращаться стали. Потому что, если деньги занять надо, – к нему, проблеме какую-то сложную решить – тоже к нему. И никто с пустыми руками не уходил.

Не мальчик – орел. Ни перед кем не суетится, всегда спокоен и обстоятелен. И говорит-то так, что хочется слушать и слушать. А держится как! И добрый...

Мать умерла ночью. Ему накануне исполнилось двадцать два года. Она проснулась, вскрикнула. Он успел прибежать из своей комнаты, успел взять за руку. Она покинула этот мир, а он так и сидел всю ночь у ее кровати. Он не плакал, не кричал, хотя что-то внутри него и плакало, и кричало.

Оцепенение тоски сковало его по рукам и ногам. Дни тянулись за днями, а сердце как будто умерло. Он прислушивался к своему сердцу, а оно молчало в ответ – ни звука, ни шороха, ни намек на жизнь. Он сидел целыми днями на стуле и раскачивался из стороны в сторону, как мулла. Порой ему казалось, что и его час недалек...

Но на сороковой день отпустило. Просто взмахом одним – раз! – и все прошло. Только сомнения остались – достаточно ли он сделал для матери, пока она жива была, сделал ли он все, что мог? Но он так и не смог ответить себе на этот вопрос. Только через двадцать лет, разменяв пятый десяток, он наконец успокоился и понял – никто бы не сделал больше. И еще: никто не сделал бы даже половину того, что сделал он.

На поминки явились и ребята, с которыми он крутил дела, принесли толстую пачку денег. «Ты, наверно, потратился – вот». И остороженько так, заметив потепление в глазах: «Без тебя дела встали... Клиенты тепленькие стынут...» А на прощание девчонку прислали, как бы помочь со стола там убрать, с посудой... Красивая была девчонка, веселая. Та девчонка его и отогрела окончательно.

Утром он проснулся и понял, что уже не может без той жизни, которой отдал семь последних лет, что его пьянит азарт риска, возбуждают крупные ставки в этой игре и громадное удовольствие доставляют сложные финансовые махинации. Он признался себе в этом без стыда, без оглядки на фотографию матери на стене. Он решил – я такой, значит, таким и буду. Значит, на этом свете нужен и такой человек. В двадцать два года он был хитер, как сатана, но никогда не хитрил с самим собою...

2 (Нина)

Когда начался этот кошмар? После аварии или раньше, когда она познакомилась с Валентином? У них была большая компания. Все учились в одной школе, жили рядом, а потому часто встречались. Вино на этих вечеринках появилось классе в девятом. Но все было безобидно: танцы, картишки – баловство. Валя оказался в их компании, когда она заканчивала второй курс. Быстро стал своим парнем. Нора оглянуться не успела, как во время одной из вечеринок оказалась с ним в пустой комнате на диване. Он целовал ее не по-детски, не так, как другие ребята, когда играли в бутылочку.

Она потеряла голову. Но только на то время, пока он занимался ее телом, пока от каждого прикосновения его рук бросало то в жар, то в холод, пока губы жадно впивались в кожу. А как только он отстранился, сразу же пришла в себя и натолкнулась на его глупую самодовольную улыбку. Он что-то говорил ей, а она, натягивая джинсы трясущимися руками, думала только об одном: чтоб весь этот мир провалился в тартарары. И немедленно!

О случившемся Нора рассказала только сестре. Они подробно обсудили каждую мелочь, которую Норе удавалось вспомнить. Однако помнила она мало. «Так что он тебе сказал? Как все началось?» – жадно спрашивала Нина. Но Нора помнила только густой сладкий туман. Сестра слушала ее, завидуя и краснея.

– Ты его любишь? – спрашивала сестра.

– Нет, конечно.

– Ну хоть чуточку?

– Фу!

– Но тебе ведь понравилось?

– И что?

– Может, это и есть любовь?

Через три дня они снова встретились у подруги на дне рождения. Он подмигивал ей через стол и, как только приглушили свет и включили музыку, пригласил танцевать. А после танца уверенно поволок на кухню. Норе хотелось вырвать руку, рассмеяться ему в лицо. Но пересилило другое желание...

Все повторилось. Как только он склонился к ее шее, как только она почувствовала его дыхание у своего уха... Дальше был провал, густые сумерки. Краем глаза она видела, что на кухню кто-то заглядывал, но, застав их, тут же ретировался. В тот момент ей не было стыдно. Она задыхалась от восторга.

Стыд пришел позже, когда именинница, отозвав ее в сторонку, тихо спросила:

– С ума сошла?

– Ты о чем? – выдавила из себя Нора.

– О том! Такими вещами не занимаются при всем честном народе. Это все-таки приличный дом...

С тех пор они встречались у Норы. Каждый день. В четыре часа она возвращалась из института, в пять приходил Валя и уходил через час, до возвращения родителей. Они были одни. Одни, потому что Нина была не в счет. Она не выходила из соседней комнаты, жадно прислушивалась к звукам из-за стены. Она сидела с закрытыми глазами и представляла себя на месте Норы. Это была увлекательная игра. Скоро ей должно было исполниться шестнадцать.

– Знаешь, я решил на тебе жениться, – тоном благодетеля однажды оповестил ее Валентин.

– Что? – не поняла Нора.

– Давай-ка я сегодня поговорю с твоими предками.

Нора ужаснулась. Этот кретин, кажется, считает, что она была бы рада... Какой дурак! Она собралась сказать ему об этом и послать ко всем чертям, но представила завтрашний день без сладкого обморока в пять часов и прикусила язык.

Он дождался мать. Обрадовал сначала ее. Та устало посмотрела на Нору.

– Хорошо. Наверно, это хорошо.

Отец тоже был краток. Достал из шкафа бутылку водки. Молча открыл, разлил всем присутствующим, кроме Нины.

– Заявление уже подали?

– Сначала родительское благословение. – Валя сиял как медный таз.

– За это спасибо. – Отец крикнул, опрокинув стопку. – Так когда заявление напишете?

– Завтра. Прямо с утра.

Они написали заявление. Валя купил кольца – самые тоненькие из тех, что были на витрине. Его мать пригласила будущих родственников на пироги. Дальше все шло, как это обычно бывает: списки приглашенных, платье, деньги. Денег нужно было много. Валя подыскал себе какую-то работенку. Их пятичасовые встречи кончились. Нора лезла на стенку от тоски и безысходности. Ей недоставало его. Нет, не его. Того, что происходило между ними. Она уже считала дни до свадьбы. Скорее бы. Пусть, если уж нельзя по-другому, пусть таким дурацким способом, но она снова будет плавать в волнах тягучего дурмана.

За неделю до свадьбы он прикатил на старом отцовском «Москвиче». Посмотрел гордо на Нору и, ухмыльнувшись, спросил:

– Соскучилась?

Она не ответила. Ответ был написан на ее лице.

– Предлагаю завтра выбраться куда-нибудь за город, с палаткой. С ночевкой...

– Да! – выдохнула Нора.

Родители посчитали такую поездку неприличной.

– Заявление – это еще не свадьба, – повторяла мать как заведенная. – Возьмет и передумает.

Нора кусала ногти.

– Одни, да еще с ночевкой, – качал головой отец.

Выручила Нина.

– Я с ними поеду. Глаз с них не спущу!

Нора чуть с ума не сошла от ожидания, пока они доехали до места. Она согласна была разбить палатку у самой кромки леса, на обочине дороги, только бы поскорее. Но Валя все ехал и ехал, прежде чем отыскать какую-то заветную полянку.

– Вот это другое дело! Красота!

Нора сунула сестре литровую банку.

– Дуй за черникой.

Та понимающе улыбнулась и исчезла между деревьями. Нора повернулась к Вале. Зубы ее слегка постукивали.

– Может быть, сначала палатку поставим...

Она не дала ему договорить.

Он только теперь понял, насколько велика была его власть над ней. Водил рукой по ее груди и внимательно наблюдал, как она стискивает зубы, слушал, как стонет от легких его прикосновений. Он упивался этой властью. Он не думал – над ее телом. Он думал – над ней. Замечательная у него будет жена. Муж должен иметь власть в доме. Когда он, уставший и потный, оторвался от нее наконец и поднял голову, то успел заметить Нину, выглядывающую из-за дерева. У нее было такое лицо... Совсем как у Нору, лежащей на траве навзничь...

Утром Валя выбрался из палатки и направился к озеру. На берегу сидела Нина.

– А я думал, ты еще спишь в машине, – удивился он.

- Так хорошо здесь...
- Знаешь, я плавки не взял, не ожидал тебя...
- Он разделся и, не смущаясь, повернулся к ней.
- Не хочешь со мной?..
- Она уьет нас, – сказала Нина, выбираясь из воды.
- Пальцем не шевельнет! – заверил ее Валентин.

Кошмар подстерегал их по дороге назад. Нора чувствовала: что-то изменилось. Он что-то сказал в машине. Она ни разу потом так и не смогла вспомнить – что? Но ей стало все ясно. Отчетливое видение: они в озере. Вдвоем. Она бросилась на него, впиваясь в шею ногтями, зубами. Машина катила вниз по узкой лесной дороге...

Свадьбы, конечно, никакой не было. Валя лежал в больнице с переломанными ногами. Сестра пришла в сознание только через неделю. Нина не получила даже царапины, но целую неделю сидела возле сестры, ни с кем не разговаривая.

Заговорили они одновременно. Одна с больничной койки, другая – вскочив со стула в дальнем углу палаты.

- Белое...
- Милая! Прости меня!
- Какое все белое. – Она улыбаясь смотрела вокруг.
- Это больница. Мы попали в аварию, ты...
- Когда придет мама?
- Ты помнишь аварию?
- Где моя мама?
- Мама будет вечером. После работы. У тебя что-нибудь болит?
- Глаза. Принеси мою куклу.
- Милая...
- И чай, только тепленький...

Через два месяца сестра вернулась домой. Она ходила по квартире, ничего не узнавала, спрашивала такие вещи, о которых знает даже ребенок. Мать плакала, отец каждый вечер напиивался до смерти, только бы этого не видеть. Она ходила за сестрой как нянька. Она винила только себя...

3 (Феликс)

Он шел к Богу долго, и пути его были размыты слезами. Теперь он понимал, почему не спешил с постригом, почему затягивал период послушничества. Было – почему. Потому что себя не знал, потому что Бога не знал. Но он сам оказался не таким, каким считал себя. Бог оказался не таким. А они не поняли, не поняли и не поймут. А он понял и стал молиться своему, другому Богу.

Все началось, когда мать, его мать за два года молчания, отречения от сына, проклятий в письмах, неожиданно приехала в монастырь. Он чуть с ума не сошел от радости – сбылись его молитвы, она поняла. Это точило его изнутри день и ночь: его мать – добрая, умная, любимая и необыкновенная...

– Я хочу исповедаться тебе, батюшка, – сказала, усевшись напротив него за столом.

Ухо резанула привычная насмешка. «Это ничего, – подумал он. – Это Господь простит, это ведь человеческое. Он растопит лед ее сердца...»

– Я не батюшка, – сказал он ей смиренно. – И исповедоваться лучше не мне, а нашему...

– Уж позволь мне самой решать, – перебила мать. – Я с тобой говорить собираюсь. О прощении. О возмездии. Как там у вас по Библии, есть возмездие-то на земле?

– Есть Божий суд, он и есть возмездие человеку за грехи, за все им свершенное...

– Божий, говоришь? – Мать прищурилась. – Так это ведь не на земле. На земле только нарсуд есть. Тупой и бесчувственный нарсуд.

– Мама, – попросил он ласково, – я не понимаю тебя. О чем ты приехала поговорить?

Она посмотрела на него так, словно взвешивала, стоит ли. Стоит ли он тех надежд, которые она на него возлагала. Стоит ли он своей матери, он, который всегда был так похож на нее, он, который, как последний дурак, вбил себе в голову, что рожден для того, чтобы отречься от мира. В какой-то миг во взгляде ее промелькнула безнадежность. Нет, не тот он человек. Он совсем сбрендил со своими попами. Знала бы, что так получится, – придушила б соседа, который рассказал ему, что существует монастырь и семинария. Взгляд ее наполнился презрением, и в его взгляде что-то вдруг вспыхнуло ответное, жаркое, не поповское, и сердце матери мгновенно потеплело. «Нет, мальчик мой, – думала она. – Тебя не отняли. Мы с тобой одной крови. Ты ведь мой сын, а значит, в жилах у тебя течет моя кровь, и точно так же жжет она твое сердце...»

И она заговорила. Впервые рассказывала сыну о том, как они познакомились с отцом, как жили, как родился он, какие планы строили. Все выглядело призрачно-сказочно, и Феликс даже подумал, не сошла ли его мать с ума – он вовсе не помнил этой райской жизни. Их жизнь всегда была суровой, молчаливой. В доме никто не смеялся, улыбка здесь казалась неуместной. Отец умирал в тяжелых мучениях, кричал, бранился, как будто они могли ему чем-то помочь...

– Ты ничего не знаешь, – говорила мать о каких-то счастливых солнечных днях, потрясающем, невероятном счастье.

Выходило так, что до появления Феликса на свет, да и лет десять еще потом, о которых он почти ничего не помнил, мать с отцом жили счастливо и любили друг друга светло и весело. Но однажды все изменилось раз и навсегда.

Позвонили из медсанчасти... Заболела голова, отец пошел измерить давление. Все уже разошлись, только молодая сестричка суетилась, бегая от телефона к столу с бумажками и обратно. Она успела измерить ему давление и ахнуть. Но сказать ему ничего не успела. Отец стал оседать на стуле, валиться на пол, как кукла. Девушка взвизгнула и позвонила матери. Мать работала здесь же, начальником отдела. Она прибежала с двумя мужчинами, они осто-

рожно его подняли, перенесли в машину, и мать села за руль. Она не пожелала ждать «скорую», ближайшая больница была всего в трех кварталах...

У парка, на тихой улице, машину неожиданно занесло, и она выскочила на тротуар. Мать справилась с управлением, вернув ее на дорогу. И помчалась дальше. Она привезла отца в больницу, его тут же положили на каталку и увезли. Дальше она не помнит ничего, потому что упала тут же, в вестибюле, сделав шаг к двери.

Она очнулась в больничном боксе. Вечернее солнце било в окно, слепило глаза. И в разводах солнечных бликов, в плавающих зеленых и красных солнечных кругах ей вдруг отчетливо, словно наяву, послышался женский вскрик, звук глухого удара от падающего тела и визг колес.

Целый год она выхаживала отца, целый год сдувала с него пылинки, готовила по специальным рецептам особой диеты, заваривала дорогие заморские травы. За этот год отец ни разу не пожаловался на сердце. А потом на пороге их дома появился мальчик. Обыкновенный мальчик с большими карими глазами. Он пришел, когда она собиралась в магазин. Она еще улыбнулась ему, закрывая за собой дверь. Милый такой мальчик. Но когда мальчик ушел, все рухнуло. Отец встретил ее с перекошенным от гнева лицом. Он так кричал, он орал так громко, слышно было, наверно, даже на улице... А потом он упал. Очередной приступ. А дальше...

Сначала они продавали золото, ковры, хрусталь. Потом мать стала бегать на барахолку, продавала подержанные вещи. Две работы уже не спасали. Но самое главное – в доме с тех пор повисла мрачная тишина. Никто не смеялся, никто даже не разговаривал. Отношения были раз и навсегда определены: расплата. Отец считал, что они должны платить. Она работала как проклятая и платила. Но он не простил ее. Никогда, даже умирая...

Инфаркт настиг его, когда в доме остались только голые стены. Был продан даже последний шкаф, и вещи лежали в ящиках, поставленных один на другой. В этот дом больше не приглашали друзей. Казалось, здесь прошел ураган, тайфун... Так длилось четыре года. Отец умер с проклятиями на вспухших, растрескавшихся губах. Мать даже не рискнула подойти к нему сразу после того, как глаза его навсегда закрылись. Она целый час простояла у стенки, прежде чем подойти. Взяла его остывающую руку. Прижала к своей груди и только тогда, словно очнувшись от многолетнего кошмара, вдруг вспомнила, как они любили друг друга. Как мало им было отпущено времени на это счастье. Мать не смогла разлюбить отца. Все эти годы она жила словно в бреду, в тумане. Надеясь, что вот-вот пытка прекратится и все вернется на круги своя...

– Я все-таки не понимаю почему? – спросил Феликс. – Ведь никто не погиб...

– У матери того мальчика отнялись ноги. Были свидетели наезда. Мы не могли рисковать.

Феликс искал в своей душе слова утешения и не находил их. Мать смотрела сухими глазами поверх его головы в пространство.

– Потом, когда платить стало невозможно, я продала квартиру и сбежала. Помнишь, я отправила тебя к бабушке, а потом ты вернулся на новое место...

Это было не просто новое место. Это был глухой район города, новостройки, тьмутаракань. Феликс тогда так и не понял, зачем мать это сделала.

– Первые годы я думала только об одном: найдет он меня или нет? Но кроме страха жила во мне и другая мысль. За что? Кто и за что меня наказал? Меня должен был судить один только Бог, и я была готова к его суду. Но этот мальчик... Кто он – дьявол? Мне хотелось найти и задушить его...

Она еще продолжала, но сын не слушал ее.

– Мама! – перебил он. – Почему ты рассказала мне это именно сейчас?

Она замолчала, вглядываясь в его лицо, заодно ища одного ей ведомого отсвета в глазах.

– Ты ведь мой сын, Феликс.

– И Господа тоже...

– Нет. – Она разглядела наконец это что-то и вздохнула умиротворенно. – Мой. У меня лейкемия. Я не успею его найти...

В тот же день Феликс уехал из монастыря с матерью. Он был только ее сыном. И семейные боги смотрели с презрительной ухмылкой куда-то в небеса...

Феликс понимал, что нужно набраться мужества. Болезнь матери неизлечима. Врачи уже отказались от нее. Значит, конец близко.

К его удивлению, страшных болей, которые испытывают практически все больные раком, у матери не было. Она выглядела лишь несколько вялой, уставшей.

– Ты что-нибудь принимаешь? – спросил Феликс однажды.

– Мне не нужно, – ответила мать.

Он замялся. Хотел и не мог спросить о том, что она чувствует. Она поняла. Села. Усадила его напротив.

– Смотри внимательно на меня.

Чем дольше он вглядывался в ее лицо, тем сильнее становилось ощущение, что ее глаза втягивают, вбирают его в себя целиком, без остатка. Он чуть отпрянул, не отрывая взгляда, собрал всю свою волю, чтобы не утонуть совсем в этом взгляде, почувствовал, что ему удастся удерживать дистанцию. Вдруг его накрыла горячая волна, и по всему телу разлилась жгучая боль. Феликс заскрежетал зубами и снова «поплыл» навстречу широко раскрытым глазам матери. На минутку мир вокруг исчез, словно она все-таки втянула его. Он собрал последние силы, резко встал и выбросил руки вперед. Мать согнулась пополам и застонала. Феликс тряхнул головой, отгоняя последние волны наваждения, осторожно взял ее на руки, отнес в спальню. В ее лице не было ни кровинки. Но еще до того, как она открыла глаза, губы сложились в торжествующую улыбку.

– Ты меня напугала!

– Не ожидала, что у тебя получится... Так скоро...

– Тебе больно?

– Уже нет, – к ней медленно возвращался обычный цвет лица, сведенные мышцы расслаблялись.

Феликс с ужасом и отвращением вспоминал о той удушливой волне нестерпимой боли, которая только что прокатилась по его телу, стремясь, казалось, раздавить его. Он снова посмотрел на мать, уже догадываясь, но еще не в силах поверить.

– Это была твоя боль? – спросил он, осторожно подбирая слова.

Мать медленно и значительно кивнула. Но взгляд больше не обжигал болью, теперь от этого взгляда по телу разливалась приятная истома, чувство освобождающего от всего земного покоя. Феликс облилизал пересохшие губы и спросил:

– Как ты это делаешь?

– А ты как?

Каждое слово отдавалось в голове гулким эхом и растягивалось на сотню миль.

– Я?

– Ты. Ты ведь только что вернул мне мою боль. Оттолкнул от себя. Как это получилось?

– Не знаю...

Покой завораживал. Казалось, все цели в этой жизни достигнуты, все вершины взяты, все желания удовлетворены. Покой был полным, абсолютным, с привкусом ощущения, что такого не бывает при жизни. Огромное желание поддаться чувству умиротворения, уплыть в его водах, раствориться в них завладело им целиком. Нужно было сделать для этого какое-то маленькое усилие, совсем крохотное, чтобы отцепиться от назойливого чувства страха – страха ступить в неизвестное. Нужно было отказаться от чего-то земного, из последних сил вцепившегося в мозг, не пускающего в голубую, качающуюся перед ним нирвану. Феликс глу-

боко вздохнул, а потом решительно и бесповоротно сделал это последнее усилие и канул в без-
время.

Очнувшись, он понял, что давно стоит глубокая ночь, фонари погасли за окном. Он
лежал на диване, не желая окончательно проспать, пытаясь угнаться за рассеивающимся
сновидением. Время снова двигалось в прежнем ритме. Мир возвращался к нему, или это он
возвращался к миру. Но мир оставался прежним, тогда как Феликс возвращался уже совсем
иным.

Оставшуюся часть ночи он не сомкнул глаз, дожидаясь пробуждения матери, но к утру
мысль о вчерашнем открытии привела его в такой восторг, что он не выдержал, оделся наспех
и выскочил на улицу.

Люди толпились на остановке в ожидании автобуса, поглядывая то на часы, то на дорогу.
Ожидание затягивалось. Взгляды блуждали бесцельно по толпе. Феликс приготовился, вспом-
нил вчерашнее ощущение и стал пристально смотреть на девушку в коротком красном плаще.

Она покачивалась на высоких каблучках, смотрела время от времени на миниатюрные
наручные часики и морщила носик. Пухленькая нижняя губа, ярко обведенная алой помадой,
казалась безвольной, обнажая полоску зубов. Время от времени она водила взглядом по толпе,
но каждый раз взгляд ее убегал, так и не задев Феликса. И вдруг...

Она в очередной раз подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза. «Опа! Поймал!»
Феликс физически почувствовал это мгновение. Взгляд девушки остановился, замер. Она
слегка откинула голову, словно пытаясь уклониться, и застыла. Подошел автобус. Люди бро-
сились к распахнувшимся дверям. Девушку толкали со всех сторон, на нее сыпались ругатель-
ства, но она не двигалась, сохраняя отрешенное выражение лица.

Феликс отпустил ее. Девушка часто заморгала, замотала головой, не понимая, откуда же
взялся автобус, почему двери закрыты, почему он уезжает, забегала от одной двери к другой,
но узнать, что же произошло, она не могла, на остановке никого не осталось. Только странный
молодой человек смотрел на нее, стоя поодаль, но и он быстро пошел прочь...

Мать он застал за чаем. Она улыбалась.

– Получилось?

– Это... это...

Он никак не мог найти подходящих слов. Ощущение власти над миром – вот что он
почувствовал в первую очередь. Власти такой, какой ни у кого нет и не было.

– Но почему же ты раньше?.. Почему раньше никогда...

– Никогда?

Она посмотрела на него долгим взглядом, и перед его мысленным взором вдруг пробе-
жали несколько эпизодов из детства.

...Вот отец сажает его, пятилетнего, на новый двухколесный велосипед. Он поддерживает
велосипед за седло и, согнувшись, бежит рядом. «Я сам! Хочу сам!» – кричит Феликс. «Самому
нельзя, расшибешься», – задыхаясь от бега, отец пыхтит как паровоз.

«Сам! Сам! Сам!» – «Ну хорошо...» Но как только Феликс оказывается один, без под-
держки, велосипед почему-то теряет равновесие и беспомощно валится на бок. «Ма-ма! – кри-
чит Феликс подбегающей матери. – Я упал. Упа-а-ал. Мне так бо-о-о...» А боли-то уже и нет
никакой. Мама склонилась над разбитой коленкой, помахала руками, шепнула что-то быстро,
и капельки крови словно затянуло обратно. Они просто-напросто исчезли...

...А вот ему тринадцать. Он сидит на диване и, сам того не замечая, кусает кончик
подушки. Его короткая первая любовь. Ее зовут Надя Медведева. Надя Медведева гуляла
с Игорем Ивановым за ручку. Он и представить себе не мог, что это будет побольше детских
синяков и ссадин. Когда он вспоминал, как они шли по аллее, дыхание неожиданно обрыва-
лось, к горлу подступал комок. И он ничего не мог с этим поделать. Сидел и грыз подушку.
Но тут его позвала мама. Он посмотрел на нее и... провалился. «Как ее зовут?» – спросила

она. «Н-надя, Медведева», – ответил он, запинаясь. «Какая смешная фамилия, – сказала мама серьезно. – Просто обхохочешься». На следующий день, на уроке математики, учительница делала переключку. Когда выкликнули Медведеву, Феликс прыснул от смеха, ему стало удивительно легко. С тех пор Надя вызывала у него только улыбку. И, может быть, чуть-чуть – сожаление. Надо же было родиться с такой смешной фамилией!

Мать вернулась к чаепитию.

– Но почему я не помнил этого раньше? – прорвало Феликса, очнувшегося от воспоминаний.

– Этого никто не помнит. В этом весь фокус.

Феликс задумался.

– И часто ты таким образом вмешивалась в мою судьбу? – спросил он тихо.

– Подумай сам.

– Но ведь это...

Мать решительно отставила чашку. Чай выплеснулся на скатерть.

– Что – это? – спросила она резко. – Нельзя, да? Опять мораль прорезалась?

Он физически почувствовал, как мутный поток злобы выплеснулся из ее глаз и ринулся на него. Феликс отпрянул и выставил вперед руки. Мать сделала то же самое. Он стоял посреди комнаты, она сидела, и они вытягивали навстречу друг другу руки с растопыренными пальцами, словно удерживая стену с двух сторон. Пространство комнаты между их руками раскалялось, становилось тяжелым, повсюду плавали едва заметные, прозрачные светящиеся точки.

– Вместе, – хрипло крикнула мать, и они одновременно опустили руки.

Феликс отчетливо услышал глухой удар, как будто что-то упало на пол.

– Мама, тебе больно? – Он бросился на колени. – Давай прекратим это.

– Ничего, ничего. – Мать мгновенно побледнела. – Пока я показываю тебе что-то, я не справляюсь со своей болью. А она, надо сказать, чудовищная. – Она закашлялась, и Феликс быстро поднес ей стакан с недопитым чаем.

Мать отхлебнула, перестала кашлять. На носовом платке, который она отняла ото рта, появилась маленькая капелька крови.

– Вот видишь, – сказала она Феликсу. – Времени у меня остается мало. Нам еще многое нужно успеть.

Они перешли в ее спальню. Мать легла на кровать.

– Я делала это только тогда, когда тебе было больно. Иначе я никогда не отпустила бы тебя в монастырь. – Мать криво улыбнулась. – Ты тоже не должен вмешиваться в жизнь своих детей.

– Почему же ты не помогла отцу, когда он болел?

– Я не могла. Он не хотел. Все время отталкивал. Не получалось. – Она поежилась.

– Значит, это получается не со всеми?

– Не со всеми. Есть люди, которых не зацепить. Сам увидишь. И еще есть одно. Никто в нашем роду не жил долго... Никто, кроме моей бабки. Она никогда не пользовалась своими способностями и каждый день в церковь ходила.

– Так, значит, они все?..

– Все. Да все по-разному. Кто-то может предсказывать, кто-то слышит голоса, а кто-то управляет, как мы.

– Ты часто это делала? Ну, по жизни: на работе там или на улице.

– Нет, – усмехнулась мать. – Хотела жить долго. – Она рассмеялась. – Да только вот видишь, что из этого вышло.

– А тот паренек, из-за которого все... Его-то ты пробовала поймать?

– Я его видела только один раз. Он ведь с отцом разговаривал. А деньги мы потом передавали через каких-то ребят. Но я его нашла. В городе. Я пыталась...

– Не получилось?

– Нет. – В голосе матери послышалось отчаяние. – Может быть, у тебя получится.

– Получится, – уверенно сказал Феликс.

Мир вокруг Феликса стремительно менялся. Он словно попал в волшебную точку, вокруг которой события сворачиваются в круговорот и тот плавно выносит тебя в иную реальность, где те же декорации, но другой ты, а потому и совсем другой сюжет. Подогретый рассказами матери, он ощущал себя полубогом. Он мог управлять людьми. Его власть над ними была практически безграничной. Безграничной и тайной. Для того чтобы ею пользоваться, не нужно было разрешения. Никто даже никогда не упрекнет его в том, что он делает, потому что никому и в голову не придет, что такое возможно. Не в сказке – наяву.

Вот стоит долговязый очкарик с «дипломатом». В руке букет тронутых увяданием гвоздик. Смотрит на часы. И по сторонам. Ну что ж... Опа! Взгляд молодого человека теряет осмысленность, он брезгливо осматривает букет, словно держит в руках дохлую жабу, морщится от досады и на глазах у удивленных прохожих сует букет в урну. Через минуту он рассеянно моргает, как будто только что проснулся, и ничего не может понять, озирается вокруг, ошалело смотрит на хвостик букета... По тротуару ему навстречу семенит долгожданная подруга. Парень выхватывает цветы из урны и прячет за спину.

Маленькая блондинка, окидывая победоносным взглядом всех вокруг, подходит к очкарику, поднимается на цыпочки и целует его в губы, закинув руки за шею. Очкарик краснеет, бледнеет, суетится, спохватывается и вручает ей цветы, смахивая на ходу прилипший окурок. Девушка прижимает цветы к лицу, вдыхает их аромат, едва заметно морщится и натянуто улыбается парню. Девушке явно доставляет удовольствие продемонстрировать всему миру свою власть над своим мужчиной. Она берет его под руку, она высокомерно оглядывается на стоящих поодаль дам и... почему-то отскакивает от парня на шаг. Быстро, дрожащими руками нашаривая пуговицы, она расстегивает плащ, потом все с тем же ничего не выражающим лицом расстегивает блузку: одну пуговку, другую... Парень обескураженно вытирает пот со лба. Кажется, он сейчас заплачет от растерянности. Он снимает очки и старательно протирает стекла. Отскакивает третья пуговка, наполовину открывая грудь... Хватит. Перебор. Как раз в это время загорается зеленый свет, и Феликс переходит через дорогу, подальше от жалкого зрелища. Девушка за его спиной резко запахивает плащ, и они с молодым человеком так и остаются стоять, напряженно глядя друг на друга. Потом слышится короткий истеричный вскрик и звонкая пощечина. Его обгоняет маленькая блондинка...

Вот уже неделю он ходит по улицам и чувствует себя волшебником. Ему хочется, чтобы люди плясали под его дудку беспрекословно, но несколько неудачных опытов приводят его в замешательство. Он «ловит» прохожего и внушает ему повернуть направо. Человек останавливается, бессмысленно топчется на месте, нелепо размахивает руками – но и только. Феликс не желал с этим смириться.

Властелин улицы, он возвращался домой беспомощным рабом надвигающегося ужаса. Дома царил полумрак. Мать таяла как восковая свеча. Глаза ввалились, лицо сделалось зеленоватым. Порой ей было трудно самостоятельно справиться с болью, и она звала Феликса. Он садился рядом на кровать, и они несколько минут напряженно смотрели друг на друга. Что-то происходило. Феликс никак не мог уловить этот момент. Мать откидывалась на подушки и засыпала.

Дыхание ее с каждым днем становилось все тяжелее. Она теперь почти не вставала, проваливаясь часто то ли в сон, то ли в забытие. Одной ногой она уже стояла в потустороннем мире и была похожа на тень той женщины, которую Феликс раньше звал мамой. Черты лица, выражение, интонации, голос – все переменялось.

Последняя ее неделя была самой тяжелой. Волны дикой боли накрывали ее с головой, но именно тогда она стала рассказывать ему историю их семьи, историю передающегося по наследству дара. «Сибирь всегда была сама себе царством...»

Время двигалось медленно, слова застревали у нее в гортани, мать захлебывалась кашлем, засыпала, просыпалась и снова продолжала свой рассказ. Плотные шторы были наглухо закрыты, даже тусклый солнечный свет ноябрьского короткого дня вызывал у матери страшную резь в глазах, слепил. За задернутыми шторами целую неделю, не зная, ночь сейчас или день, засыпая иногда рядом с матерью и просыпаясь от ее стонов, Феликс слушал ее удивительную исповедь...

Он хотел бы спросить ее о многом. Почему она жила как все обыкновенные люди: ходила на скучную службу, разговаривала с неинтересными людьми? Почему никогда прежде даже не намекнула ему, что он носит в себе – такое. Но вопросы он оставил на потом: он спросит, когда она расскажет ему все. Лишь бы только успела...

От бессонной недели, оттого, что все это время он не выходил из дома и почти ничего не ел, мысли его путались, а в душе разгоралось горячее пламя гордыни. И в центре всех золотых полотен, как икона, как символ, плыл образ маленькой девочки со светло-голубыми глазами, глядящей в огонь... И почему-то жутко становилось от этого.

Феликс смотрел на мать, не понимая, когда она прекращает говорить, когда продолжает. Рассказ ее сливался в один монотонный гул, и гул этот разъедал его сердце. Ему казалось, что она бредит, сказки пересказывает странные, путает все. Но мать упорно шевелила и шевелила губами, уже едва слышно, словно из загробного мира пересказывая сыну то ли свои видения, то ли чьи-то безумные выдумки. А он только наклонялся с каждым днем, с каждым часом ниже к ее постели, к ее губам...

Легенду про Федора и дочь его Настю по сей день пересказывали в глухом сибирском селе. Правда, историю эту подробно никто не знал. Так, слухи одни. Федор в конце жизни умом все-таки тронулся. Каждую ночь ему снился черт обгорелый. За ним и ушел Федор. Не сразу. Лег десять еще так мучился. Каждую ночь криком кричал. Олюшка его ненадолго пережила. Годика на четыре. Ребенок от нее остался. Замуж ее, понятно, никто не взял, все ведьмой считали, чурались. Да только, как ей семнадцать стукнуло, сразу после Ивана Купалы, понесла она. Родился мальчик. Розовый, не желтый. Глаза карие, большие. Федор, как принесли ему ребеночка показать, все плакал и повторял: «Простили, простили девочку мою!»

Но крестить ребенка поп не стал. И записывать отказался. Федор с тех пор в церковь больше и не хаживал. Как все померли, мальчику четыре годика сравнялось. Сирота круглая. Стала за ним Акулина ходить. Хоть и была старухой, мальчику спуску не давала, но и обижать не позволяла никому. Она-то и рассказала ему обо всем, как подросток. На нее одну чародейство Оленькино не действовало. Потому-то она все и замечала, но никогда не выдала никому. Грех на ней был большой. Всю жизнь она Бога благодарила, что хозяйку к рукам прибрал...

Умирая, благословила Акулина мальчика в столицу податься. Велела на шею крест повесить и всем сказывать, что православный, крещеный. Так он и сделал. В столице женился, деньгами большими оброс, но, говорят, на руку был нечист, потому и кончил на дыбе. Среди детей были у него дочка любимая и сын. Очень ему хотелось дар сыну передать. Да перешел дар дочке.

Девочку звали Настей. Мать ее в монашки отдать хотела, но в последний момент отчего-то передумала. Отчего – так никто и не понял. Осталась Настя дома, да с тех пор постепенно в доме стала самой главной хозяйкой. Ничего без ее слова не решалось. Хотя соплуха была еще совсем, братьев и сестер в черном теле держала. Замуж вышла за богатого купца.

Купеческий дом напротив стоял. Настя соседского мальчика еще с детства полюбила. Все вздыхала по нему. Да тот только нос воротил отоборвашки, посмеивался. А через два года неожиданно-негаданно пришел замуж звать. Дружка его в ту пору рассказывал, что шел он

свататься словно через силу, словно кто в шею гонит, а упираться – сил нет. После женитьбы очень он изменился и сразу как-то сохнуть стал. Худел не по дням, а по часам, друзей позабыл, родителей навещал редко.

Протянул так два годика и помер. Оставил жену богатой вдовой с малолетним сыночком Федором. Только Настя вскорости в реке утонула, купаясь. Говорили, что сама, нарочно...

После нее никто в роду любовь к себе не приманивал. Поэтому и мать не стала отца пересиливать, когда он на нее смотреть перестал. Могла, да не захотела. Знала, что ничем хорошим это не обернется.

Как Настя утонула, братья ее и сестры полюбовно наследство разделили, а ребеночка ее все шпыняли да били, пока он не подрос да и не удрал из дома. Прибился к церкви на окраине города.

Попадья бездетная подкармливала. Жалела. Баловала. Грамоте обучила. Стал он писарем у попа. Хороший мальчик. Только слегка желтушный. Прилежный был, грамотный, писал красиво. А в двадцать лет пропал – как в воду канул.

Было, правда, накануне одно происшествие странное, о котором долго потом все в округе забыть не могли. До того, как Федору пропасть, прошел мимо церкви человек один. Детишки, что на улице играли, рты поразинули, как он мимо них-то шел. Громадный, точно скала. Глаз разрез небывалый. Лицом желтый, как маслом намазанный. Бабы в окошках занавески задернули, к образам бросились, а креститься не могут – так руки трясутся...

Долго ли пробыл и как ушел – никто не видел. Дети домой воротились, матери их за вихры: «Что же вы сразу не прибежали, как этакое чудище-то увидели?» А те плечами пожимают: никого не видели, ничего не знаем. «Да как же, – матери им. – Желтый такой да громадный!» Смеются дети: «Не было, ни одного человека на улице не было, а такого – и подавно».

– Федор был грамотным, он-то и оставил записки. – Шепот матери все труднее и труднее было разобрать. – Да и дар у него был другой. Может быть, потому, что жил при церкви долгое время... Ты найдешь записки. Потом. Когда я уйду. Сам все поймешь... А теперь... Смерть близко, обещаю тебе... за меня... за мою погибшую душу... Найдешь... жить не дашь... как он мне не дал...

Она захлебнулась последними словами. По телу словно прошла волна – и обмякла вся, дышать перестала. Феликс прижал к губам ее руку и рухнул с нею рядом, забывшись тяжелым сном...

4

(Нина – Нора – Дмитрий)

Трагедия с сестрой произошла по ее вине. Она это понимала. Она этим мучилась, она жила только этим. В мире остались только она и сестра, вечно пьяный теперь отец и причитающая на каждом шагу мать были не в счет. Они ничем не могли помочь, даже если бы захотели. Чувство вины. Смешные слова. Кто из живущих знает по-настоящему, что это такое? Это боль, которая не дает жить, от которой не убежать, не скрыться. И ничего нельзя исправить – она поселилась в прошлом, а прошлое изменить нельзя. Но она попыталась. Словно заглаживая ошибку судьбы. Словно стремясь прожить жизнь за сестру. Она была уверена: если сделает так – то там, на небесах, ей зачтется. Обязательно.

Единственная, кто уцелел после аварии, – Нина чувствовала себя преступницей. Мать говорила, что у нее сильный ангел-хранитель. У сестры, похоже, такого ангела не было. У Валентина тоже.

Но Нина не верила в ангелов. Нина позвонила Валентину и уронила трубку, когда он стал орать ей унизительно-грязные слова. Она преступница. Это точно. Ее будут судить. Ей не простят. День и ночь она молилась и просила судьбу послать ей все беды, которые были уготовлены сестре. А той отдать все счастливые минуты, предназначенные для нее. Она пыталась подарить сестре свою жизнь в счет ее отнятой. Ей показалось, что она знает как...

Ее отговаривали, уверяли, что Нина – прекрасное русское имя. Но она настояла на своем.

Отец раскрыл ее новенький, только что полученный паспорт и тут же выронил его из рук. Он стоял не шелохнувшись, с закрытыми глазами, и лицо его становилось багровым. «Дура!» – бросил он ей и вышел из дома, оттолкнув мать в коридоре.

А мать поняла. Только сказала: «Ты не подумала о будущем». Строгий тон ей не удался. – Мы разделим его на двоих, – ответила Нина матери, и они обнялись.

С тех пор все звали ее Норой, кроме отца. Он вообще никак ее не звал.

Она не думала о счастье. Когда Дмитрий приехал впервые в их город, Норе было двадцать два. Позади была вся жизнь, разбитая и кое-как склеенная. Шесть лет искупления грехов. Шесть лет самоотречения. И ничего больше: ни праздников, ни танцев, ни прогулок с подружками. Никаких мужчин. И ничего впереди: никаких планов. Ей казалось: жизнь должна пройти так же, как эти шесть лет.

Дима чем-то напомнил ей Валентина. Только тот был смешным, а этот – нет. Тот был желанным, а этот – нет. Тот был жалким, а от Димы веяло силой, уверенностью в каждом произнесенном слове и еще – деньгами. Нора работала учительницей младших классов, большую перемену они с детьми проводили в парке у школы. Каждый день ровно в одиннадцать Дмитрий сидел на лавочке, а дети скакали вокруг него. Он молча разглядывал Нору. Она не смотрела в его сторону.

Потом он пропал. Лавочка опустела, покрылась слоем осенних листьев. Нора отметила эту пустоту с легким сожалением. Через два месяца, выйдя с детьми в заснеженный парк, она увидела его снова и испытала легкое головокружение. В этот раз он только улыбнулся ей. Нора лепила снеговика вместе со своими второклассниками, бросала снежки, поглядывая краем глаза на скамеечку.

Скамейка опустела внезапно. Она так и не заметила, когда он поднялся, не видела, как уходил. Из глаз неожиданно заморосили мелкие слезинки. Нора вытирала их варежкой и смеялась.

В следующий раз он подошел к ней, заговорил. Они встречались. Два-три свидания, не больше. Разумеется, он оказался залетным столичным гостем. Перед отъездом он сказал:

«Выходи за меня замуж. Не отвечай сейчас. Вечером я уезжаю, вернусь через месяц, тогда и ответишь. Если ответишь „да“, увезу...»

Ни поцелуя, ни пожатия руки. Но Нора не сомневалась, что все серьезно. Такие люди не шутят. Если предлагает, значит, все для себя обдумал и решил. А теперь – ее очередь.

Они весь вечер просидели в ресторане: незнакомые дорогие блюда, шампанское. Он даже не взглянул на счет.

Норе вдруг стало жалко себя. До одурения. Может быть, это вино ударило в голову, но ей захотелось плакать. Ей стало жаль шести лет, выброшенных из жизни. Ей больше не хотелось, чтобы один день был похож на другой как две капли воды. Ей захотелось вырваться.

В порыве благодарности она попыталась рассказать ему о сестре.

Голос сразу как-то некрасиво осип. Дмитрий немного наморщил нос, он не был любителем пускаться в откровения. Да и выслушивать их тоже. Она так никогда и не рассказала ему о сестре.

Когда он уехал, Нора скиталась по городу. В любую погоду, до изнеможения. Ей все время хотелось плакать. Не потому, что его не было рядом. Она не любила его. В этом у нее сомнений не было. Но жизнь ее потеряла смысл. Тот смысл, который она вложила в нее шесть лет назад: искупление грехов.

Теперь ей казалось, что она не заслужила такой участи. Что это вовсе не она виновата в случившемся. Она вспомнила Валентина на костылях. Один раз только его и видела за последние годы. Нора хотела подойти, но ей показалось, что он готов разорвать ее на части. Значит, он тоже считает, что во всем виновата только она. Почему она? А он?

Теперь Нора готова была обвинять не только его, но и сестру, и всех на свете, лишь бы с чистой совестью шагнуть в ту жизнь, куда открывает ей двери Дмитрий. Она была маленькой, бедной, несчастной, а он мог увести ее из этой дыры, сделать богатой и счастливой. Ведь правда, мог он сделать ее счастливой...

Она совсем не представляла себе, что такое счастье. Ровесницы ее мечтали о том, как будут жить, строили воздушные замки, а потом искали своего принца, свой замок. Ей нечего было искать. Счастье ее осталось похороненным в холодной озерной воде, куда канули ее первые стоны и содрогания. Разве может быть другое счастье?.. Но она не хотела больше хоронить себя заживо. Она хотела жить. Просто жить. Кататься на машине, ходить по ресторанам, покупать себе красивые вещи, украшения. И чтобы дарили цветы, и чтобы возили в театр. Не все же мыть за сестрой горшки...

Через месяц она сказала Дмитрию «да». А он с удивлением отметил, что черные круги залегли у нее под глазами. Неужели из-за него?

– Собирайся, – сказал он. – Улетаем во вторник. Билеты я уже взял.

– Мы с тобой выходим замуж, – сказала Нора сестре.

– Опять?

– Да, да. Но на этот раз по-настоящему.

– Тогда поскорее...

– Конечно.

Теперь, выходя замуж, она вовсе не хотела делить предстоящую жизнь с сестрой на двоих. Она пыталась убедить себя, что влюблена в Дмитрия. Ей необходимо было убедить себя в этом. Потому что именно так она накажет Валентина. Валентин был подделкой, она вышвырнет его из памяти, как дешевую безделушку. Им с сестрой... Ей, только ей достанется подлинник, – то, чем Валентин мог бы стать, то, чем он никогда не будет. Это лучшая месть тому, кто похоронил ее счастье.

Перед вылетом она позвонила Валентину и тихо сказала в трубку: «Нора выходит замуж. По-настоящему». В ответ прозвучал истеричный вопль...

Дима был старше ее на десять лет. Нора не придавала этому значения до тех пор, пока не познакомилась с его коллегами по институту, с их женами. Все они тоже были старше. От Норы не ускользнуло, что мужчины смотрят на нее с восторгом, а их жены зеленеют от злости.

«Я молодая жена!» – повторяла она себе, разгуливая по собственному дому, который остался Дмитрию в наследство от родителей. Его папа, кажется, был академиком. К сожалению, фотографий не сохранилось, и десятков книг, написанных его отцом, – тоже. Когда-то в доме был пожар и все превратилось в пепел.

«Я молодая жена!» С каждым днем Нора все больше и больше упивалась своим положением. Она стала свысока поглядывать на женщин, которые бывали в их доме, сознавая зависимое положение их мужей по отношению к Дмитрию и понимая, что так влечет к ней мужчин.

Чувства, пережитые ею еще в школе, когда она прижималась к холодной стене, за которой громко скрипела кровать сестры, чувства, которые она на столько лет придавила грузом вины и искупления, нахлынули на нее, как только Дмитрий впервые прикоснулся к ней.

Он взял ее за руку, притянул к себе, обнял. И словно кто-то разом сорвал все замки с кладовых ее души, выпуская измученных призраков прошлого.

Вот она сидит на своей кровати, дома, а из-за стены раздаются громкие сладкие стоны сестры. Она подходит к стене, прислоняется к ней всем телом. По телу бегут мурашки, маленькие бурые бутончики на груди становятся твердыми. Их словно разрывает изнутри. Она поднимает рубашку и прислоняется к холодной стене горячим телом, чтобы совсем не обуглиться. Кровь проносится по жилам, холодная стена не спасает от внутреннего жара.

Его руки скользят под ее шелковой блузкой, пальцы пробегают по груди. Норе кажется, что она снова стоит у стенки. Комната давно плывет в оранжевых кругах. Спроси ее сейчас, кто она, где она, вряд ли она смогла бы произнести членораздельно хотя бы звук. Она больше не ощущает себя человеком разумным. В ней просыпается тяжелое животное чувство, вместо слов из горла вылетают то ли хрипы, то ли рычание... Юбка падает на пол. Откидываясь на кровать, Дима тянет ее к себе...

Ее трясет как в лихорадке. То, что Дима приписывает ее страстности, на самом деле приходит откуда-то издалека. С той поляны, на которой лежит навзничь, раскинув руки и ноги, сестра в сладком забытии, а сверху над ней, внимательно всматриваясь в ее лицо, он... Он делает то же, что и Дима сейчас. Тело Норы покрыто мелкими серебристыми бусинками пота, как тогда, когда они стояли по колено в воде, совершенно голые, когда она подошла к Валентину и прижалась к нему всем телом, а он, смеясь, развернул ее к себе спиной и, резко взяв за шею, заставил нагнуться...

Что творится с Норой сейчас? Чьи губы обжигают ее шею? Димины? Валентина? Она окончательно потеряла сознание, услышав его тихий стон, и провалилась куда-то в фиолетовый мир, который так и не принес ей ни покоя, ни облегчения.

Озерное счастье никогда больше не повторится.

Тогда же Нора поняла, что ничего никогда не расскажет ему о сестре. Если она разбила счастье сестры, то кто знает, не обернется ли так, что та тоже разобьет ее жизнь. «Нет, – думала она. – Я надежно укрыта ее именем. Счастье разбивать – удел Нины. А Нины больше нет!»

Дмитрий мало рассказывал ей о своей жизни. Он работал в научно-исследовательском институте начальником крупного отдела. Институт занимался чем-то очень-очень секретным, поэтому Норе не следовало спрашивать мужа ничего о его работе и даже знать, в какой части города этот институт находится. Жила она как королева, Дима говорил, что состоит на государственном обеспечении. И когда Нора спросила, что это значит, он ответил, что она может требовать всего, что душе угодно.

Дома Дмитрий никогда не занимался делами. Нора понимала – полная секретность требует не выносить чертежи и бумаги за пределы института. Именно так она и представляла его работу: чертежи и бумаги.

Нора пыталась забыть о существовании сестры. Писала матери веселые письма об обновлениях, о том, как они съездили в Крым, о том, какой у нее теперь дом и какой цветник она устроила под окнами. Мать отвечала ей сдержанно, но чувствовалось, что она гордится дочерью. О сестре мать ни разу не обмолвилась, словно той и на свете не было. Мало писала и об отце, с которым Дима не успел познакомиться. Нора устроила так, чтобы они не встретились.

Прошло полгода, и неожиданно умер отец. Нора полетела на похороны. Дима, к великой ее радости, не мог оставить работу и сопровождать ее. Оказалось, что смерть отца стала неожиданной только для Норы. Мать уже давно предчувствовала ее. «Сгибался пополам от боли – так желудок болел. А как только пройдет, – рассказывала мать, – опять за бутылку. Сам себя и угробил». В ее словах не слышалось жалости. Нора, настоящая Нора, едва узнала сестру. И поначалу пыталась называть ее «тетя». Только когда младшая сестра срывающимся голосом запрочитала: «Нина, Нина, помнишь Нину?», взгляд Норы несколько оживился.

Атмосфера дома вернула ее в тот мир, где дни похожи один на другой, где тоска вперемежку с печалью стучит каплями дождя по стеклам, где смертельная скука кружится в солнечных лучах в погожий день, где уныние и однообразие, грязные улицы и обшарпанный, пропахший котами подъезд... Но где все-таки есть надежда. Безумная, несбыточная надежда на озерное счастье. В столице у нее было все. Не было только этой надежды.

Нора сняла телефонную трубку и на минуту задумалась. За это время она позабыла номер Валентина. Удивительно. Шесть лет, разбуди ее ночью, спроси – назвала бы без запинки. А тут...

Значит, звонить больше не нужно. Нужно отрезать последнюю возможность... чего? Возвращения? Невозможно. Так чего? Не все ли равно? Отрезать – и все тут.

Дома было хорошо. Мама, ругая за модную худобу, старательно подкармливала ее домашними пельменями, каждый день придумывала что-нибудь вкусненькое. Сестра сидела возле нее на полу и смотрела на нее восхищенно, широко раскрыв глаза и чуть приоткрыв рот. Иногда она вставала молча и трогала ее серьги. Взгляд у нее при этом был как у ребенка, которому страшно хочется такие же, но сказать об этом он не смеет.

Вернувшись через неделю домой, Нора уже знала, что больше не сможет жить одна в чужом городе. Без матери, и самое главное – без сестры. Ее дом – там, где они. У Дмитрия она все равно чувствовала себя как в гостях. Их дом был холодным и неудобным, и она не умела да и не могла бы сделать его настоящим домом, свить гнездо.

Однако Диму это, похоже, устраивало. Он был не слишком темпераментным, и Нора без особого труда свела их интимную жизнь к редким и коротким полуночным встречам раз в два месяца.

У Димы оказалась масса достоинств. Он был весьма неприхотлив во всем, не только в сексе. Ему было все равно, что она готовит на завтрак, все равно, как она проводит время, все равно, дома она или нет. Очевидно, он безмерно уставал на работе и все время думал о своих формулах, поэтому ничто другое его не интересовало. Но главным его достоинством была необыкновенная щедрость. Каждый месяц он выдавал Норе столько денег, что она даже не знала, на что же можно потратить такую уйму. «Может быть, что-нибудь ювелирное?» – подсказывал он. Но «ювелирного» не хотелось. С тех пор, как она вернулась из дома, у Норы была совсем другая мечта.

Однажды за утренним кофе она завела с Дмитрием разговор о том, как мечтает перевезти к ним свою маму. Он поперхнулся и посмотрел на Нору, скорчив гримасу, означающую глубокое страдание.

– Милая, – сказал он ей. – Семья должна жить отдельно. Если хочешь, купим твоей маме квартиру, но только... в другом конце города. Чтобы ты ездила туда как можно реже и не привозила домой чужих жестов и суждений. Я бы этого не перенес.

– Мы купим квартиру? Квартиру маме?

– Я даже думаю, что не мы, а ты. Мне некогда этим заниматься. У нас сейчас важный правительственный заказ. Так что подбери что-нибудь скромненькое и скажи мне, на чей счет перевести деньги.

Нора встала и крепко поцеловала мужа. Впервые – вполне искренне.

За три последующих месяца Нора пересмотрела множество квартир. Ни одна из них ей не подходила. Например слишком людный район. Вдруг мать не уследит, и сестра случайно выйдет из дома. Она ведь тут же попадет под машину. Нет, нет. Нужно найти какое-нибудь тихое и спокойное местечко. Но в тихом местечке, как оказалось, соседи хорошо знали друг друга. Этого бы ей тоже не хотелось. Будут потом тыкать пальцами вслед матери и шушукаться: «Вон идет эта, у которой дочка ненормальная!» Нора облазила все новостройки на окраине. Но потом поняла: там плохо ходит транспорт. А сестру время от времени нужно показывать врачам. Мать с ней намучается...

Нора ездила по городу, не жалея сил, и ни о чем больше не думала. Вечером она возвращалась измученная и падала в постель.

Дима словно и не замечал, чем она занята, но в один прекрасный день положил перед ней на стол ключи. «Что это?» – удивленно спросила Нора. «Это тебе. Выгляни во двор». Там, у ее любимой клумбы с цветами, сверкала новенькая машина.

«На работе в виде премии выписали, – сообщил Дима. – Твоя. Понимаешь, мне нужно, чтобы жена разливала чай по вечерам, а не засыпала от переутомления в общественном транспорте».

Нора выскочила во двор и три раза обошла вокруг машины. «Теперь мне не придется мотаться к маме через весь город, – подумала она. – Я поселю ее в ближайшем пригороде. Там уклад жизни больше напоминает нашу провинцию, там природа, озера. Да, да, обязательно рядом должно быть озеро. Хотя бы маленькое».

Поскольку Дима понятия не имел о сестре, то сумма, которую он выделил на покупку квартиры, была смехотворной. Денег было ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы купить маленькую однокомнатную квартиру где-нибудь на окраине. Ее машина стоила в два раза больше.

Но Нора уже видела сестру с мамой в домике у озера и не желала расставаться со своей мечтой. Она думала только о том, как бы раздобыть еще денег. Впервые за все время замужества она выразила желание покупать продукты самостоятельно. «Тебе нечем заняться? Закажи, и тебе все принесут», – сказал Дима. «Но ведь я даже не знаю, что можно заказать. Хочется посмотреть на все своими глазами», – ответила Нора.

Три месяца она экономила на продуктах. Но это было смешно. Не может же она копить деньги несколько лет таким образом.

Вернувшись однажды домой, Дима застал жену в слезах. Рыдая, она рассказала, что какой-то негодяй подскочил к ней на улице и сорвал с шеи тяжелую золотую цепь, которую он подарил ей на свадьбу. Да так быстро, что она и оглянуться не успела. Нора робко спросила, не обратиться ли в милицию. Она не решилась сделать это раньше, помня о том, что муж работает в секретном институте. «Ни в коем случае, – Дима закатил глаза. – Ты правильно поступила. Не нужно никакой милиции. Забудем. Я куплю тебе новую».

Золота Норе вполне хватило на то, чтобы купить для матери и сестры домик в тридцати километрах от города. Дима так никогда и не узнал об этом. С тещей встречался только тогда, когда она приезжала к ним, случалось это крайне редко, а сам он никогда не выражал желания съездить к ней. Да она и не приглашала.

Нора устроила маму и сестру с комфортом. Она ездила к ним каждый день, возвращаясь домой незадолго до мужа. Она снабжала их продуктами и деньгами, покупала обувь и одежду, то есть тоже поставила на полное «гособеспечение». Мать с каждым днем все выше поднимала голову и через некоторое время уже с презрением смотрела на мшистые крыши соседских дачек.

Казалось, что из них троих именно матери повезло больше всех с Нориным замужеством. Особенно мать любила кататься на новеньком «вольво», выискивая для этого самые разнообразные поводы. Вдруг выяснялось, что она позабыла купить хлеба или масла, или соль в доме неожиданно кончилась, и Нора везла ее в сельский магазин, где та неторопливо выходила из машины и обязательно с порога оборачивалась и что-нибудь кричала дочери. Пожилые продавщицы высывались из-за прилавка...

Да и сама Нора изменилась. Чувство вины, казалось, покинуло ее навсегда. Она выполняла свой долг с самоотдачей фанатика. Ужас прошлого отступил, будущее виделось ей безоблачным.

Никогда жизнь не казалась ей такой прекрасной, как в тот год. Она уже решила, что все неприятности позади, что она расплатилась по всем долгам, и расплатилась сполна. Но очень скоро ее счастливая жизнь дала первую трещину...

Пролетело два года. Нора жила словно во сне. Она не сбивалась с ритма: утром и днем – время для сестры, вечером – для Димы. Ритм менялся лишь тогда, когда дома устраивались торжественные ужины, посвященные каким-нибудь выдающимся свершениям в жизни мужа или его института. Приглашались коллеги, непременно с женами. Дима откровенно скучал. Коллеги откровенно льстили ему. И обязательно напивались. Да и жены их тоже как-то очень уж запросто опрокидывали в себя бокал за бокалом. На таких приемах на столе обычно стояла дешевая водка, и Дима к спиртному не прикасался. Он пил только дорогой коньяк. Норе нравилось, что на коллег он особенно не тратился. Очень нравилось. Потому что больше денег останется им с матерью.

Но однажды наступил тот роковой день, перевернувший всю ее жизнь. День, о котором она никому никогда не рассказывала. Не могла рассказать.

Это был даже не реальный какой-то день, а сон наяву. Галлюцинация. Только все, что происходило в этом бреду, имело вполне реальные последствия и каким-то непонятным образом было связано с вполне реальными событиями прошлого.

5 (Феликс)

Как ни странно, смерть матери принесла Феликсу облегчение. Словно сняли с плеч непосильную ношу. После похорон он отыскал у нее в шкафу пожелтевшие рваные листы бумаги с неразборчивыми каракулями.

«Китай – страна восточная. И первый в нашем роду был китаец и княжеского роду. Только род его был в изгнании. Ополчился на него царь ихний, всех перебил, один он и остался. Перешел горы высокие. В наши таежные места попал. Зверей мог приручать. Они его слушались. Тем и жил. Тридцати лет от роду убили его лютой смертью. А дочка его – Ольга – на людей могла власть свою налагать. Преставилась двадцати пяти лет. Сын ее мог завораживать. Обманом занимался. В тюрьме сгнил. Дочь его Настасья ворожить умела. Утопла двадцати двух лет.

Сын ее Федор, эти строки пишущий, дожил до пятидесяти лет. Будущее вижу.

Никогда бы сам не узнал, да повстречал дядьку-китайца. Тот и разъяснил – кто я да что. И про дедов моих.

Дар наш таить нужно от людей и пользоваться им грех. Да и жизни не будет. Мне счастье было у церкви обитать. Потому и уцелел. Но для будущих детей своих наставления оставляю.

Будет еще нас пять поколений. Потом род кончится. И расплата кончится, потому как на роду – проклятие. За первую Настасью. За князя китайского. Никто не уцелеет из потомков Федора. Все кару понесут. А дар им только в тягость будет. Последней будет девочка. Как Настя. Что за смерть ее ждет – не знаю, не ведаю. Но мороз по коже проходит, как о ней думаю. Она, как я, сможет будущее знать. Остальные будут власть налагать словом и взглядом. И только. Последняя Настя должна с первой соединиться. И умереть должна восемнадцати лет от роду. Если только отца своего не переживет к этому времени...»

Дальше строчки расплылись в большое сиреневое пятно, да и пятно это со временем вылиняло. Феликс почему-то разозлился, дочитав до конца. Никогда такой злости не испытывал. Если считать с Сибири, то этой последней Настей должна была стать его собственная дочь. Его дочь должна умереть нехорошей смертью, расплатившись за все прегрешения своих родственничков, о существовании которых и не подозревала. И что означает последняя фраза? Он что, должен под поезд броситься к совершеннолетию доченьки?

Несправедливость такого пророчества заставила его дать самому себе клятву оставаться бездетным. Конечно, такое проще сказать, чем сделать. Но в тот момент ему казалось, что сделать это – проще простого. Однако жизнь и здесь распорядилась по-своему...

После похорон и поминок Феликс снова начал выходить в город. Выйдет, выберет себе «жертву», потешится, отпустит, пойдет искать другую. Люди вели себя по-разному. Кто-то начинал творить страшные глупости: раздеваться там или жеманничать. Другие замирали в причудливых позах, словно дети. «Раз, два, три, на месте морская фигура замри». Третьи становились агрессивными. Злоба из них так и перла.

Феликсу интересно было выяснить, почему люди ведут себя по-разному. Какого джинна из бутылки он выпускает, что этот джинн еще может сделать, чем окажется ему полезен? Через три месяца после смерти матери и ежедневных своих упражнений он понял, что стал кем-то вроде наркомана, что уже не может прожить и дня без этих удивительных занятий. Он пытался бороться с собой и проигрывал все время, а от этого делался себе все более и более противен. Но немного времени он посвятил внутренней борьбе. Сдался скоро и с чувством особенного удовольствия.

Материнские бредни все более и более забывались. Собственный дар казался ему самостоятельным, не имеющим никаких сказочных корней. Проклятия какие-то, убийства, смерти ранние – все это ерунда. Сейчас ведь двадцатый век – люди и живут дольше, да и проклятия

все отменили давно. Бога – и того нет, какие уж тут черти! Мать забывать стал, но вот требование ее – найти того, кто ее жизнь поломал, – никак из головы не выходило.

Стал тогда Феликс потихоньку собирать сведения о «злом мальчике». Заводил полезные знакомства, связи, которые могли бы ему помочь в будущем. Многие знали того паренька, называли даже фамилию, но когда он наводил справки, оказывалось, что нет человека с такой фамилией в городе. Или есть, но на двадцать лет старше. Или есть – да имя другое. Путаник был мальчишка. Большой путаник.

Феликс полюбил большие скопления людей. Это словно придавало ему сил, делало его власть значительнее. Может быть, это была власть над тайными помыслами людей, над их надеждами, сомнениями, предчувствиями? Нет, это была власть над их несовершенством, мелочностью, жадностью. Он чувствовал душу толпы. С жадностью выхватывал из нее что-то глаза, втягивал в себя чужой взгляд, заставлял человека «выйти» из своей скорлупы, раскрыться.

«Эй, дамочка, кто вы? Давайте посмотрим, как вы будете извиваться сейчас? Что будете делать? Куда же вы идете? Вы ведь уже ровно две минуты ничегошеньки не видите перед собой. Внимание! Отпускаю! Матушки родные! Где это мы? Не там, милая, где тебе бы хотелось. Ну что оглядываешься? Обалдела? То ли еще с людьми случается...»

Он обожал вокзалы. Отправить кого-нибудь к совершенно другой электричке. Не в том направлении. И обязательно – чтобы шла без остановок. Сомнительное удовольствие? Но ведь вы никогда этого не делали. Никогда не отправляли человека в другой конец перрона силой одного своего взгляда. Вы ведь понятия не имеете – что это такое.

А как быть с тем сладостным чувством упоения, которое разливается по телу всякий раз, когда ты цепляешь человека, когда ведешь. Здесь есть к чему пристраститься. Власть тоже имеет свой запах, цвет, вкус. Пряная, алая, едко-сладкая... «Разве ты пробовал это, дяденька? Эй, посмотри на меня! Все посмотрите на меня!»

Иногда Феликсом овладевал такой восторг, что он готов был кружиться по перрону, поднимая руки к небу, и кричать во все горло: «Эй, вы, посмотрите на меня!!!»

Его жизнь превратилась в один грандиозный танец. Он парил над землей, не касаясь ее ногами, душа его канула куда-то в сладкую патоку восторга, она больше не принадлежала грешной земле. Вокзал становился его Палестиной, его пагодой, его живительным родником. А мусор под ногами, нет, не так, целый мир, в котором мусор валялся под ногами, канул в Лету. Он создавал другой мир. Мир, в котором всегда не знает преград алая, пряная, едко-сладкая...

Молодежь. Чуть младше его самого. Ах какая девочка! Угловатая немного, но какая отчаянная смелость в глазах. Ангел мой, сейчас мы тобой займемся! Феликсу захотелось узнать ее получше. Такой, какой она была. Чтобы понять, чтобы угадать – какой она станет под его взглядом.

«Нет, нет, билеты беру я на всех!»

Ангелочек мой! Щедрая, самоуверенная, Боже, ни капельки сомнения в себе. Ни единой капельки. Даже обидно немного. Совсем никаких сомнений.

Он тонул в своих внутренних песнях. Это были гимны прямой власти. Слова текли нескончаемым потоком у него внутри и замирали только тогда, когда он начинал действовать. Тогда внутри наступала полная тишина. Слов не было. Целый мир исчезал вокруг, целый мир появлялся вокруг, алый мир появлялся вокруг.

«Не спорь со мной», – весело крикнула девушка кому-то и, держа в руках пятьдесят рублей, направилась в сторону касс.

Богатая. Красивая. Хочет всех облагодетельствовать. Подожди, ангелочек мой.

Она шла между билетными автоматами. Шаг, другой, третий... Поймал! Черные волосы самоуверенной красотки расплывались у Феликса перед глазами на алом фоне.

Она остановилась. Замерла. Ничего не делала. Он был далеко, в пятидесяти шагах. Но что-то случилось. Не было пряного привкуса. Или чего другого. Но чего-то точно не хватало...

Неожиданно Феликс с ужасом увидел, как в немо кино: мимо прошмыгнул парень. Быстро, уверенно. Серый такой, как мышь. Из рук забрал купюру. А она застыла, как балерина на сцене, и смотрела куда-то вперед, высоко подняв голову. Все произошло в доли секунды. Феликс отшатнулся. Что это?! Отпустил.

Но она не двигалась... Он смотрел на нее уже из этого мира, мира, где под ногами валяются рваные билетки с электричек, где повсюду горы мусора и табачный дым. А она была еще там, в ало-пряном... И вот когда она заморгала часто и рассеянно, стала то оглядываться на друзей, то с удивлением смотреть на свои пустые руки, Феликс увидел его...

Маленький сторбленный старик с палочкой. Он смотрел на Феликса с чувством превосходства только одно мгновение. На этом кончилась власть Феликса и началось рабство. И все это промелькнуло в тот момент в одном стариковском взгляде.

Дед отвернулся и достал «беломор» из кармана потрепанного пиджака. Феликс, не веря своим глазам, смотрел ему в спину, пока не почувствовал с двух сторон одинаковый нажим крепких мужских плеч.

– Донести, или сам дойдешь? – поинтересовался тот, что слева, отвратительный, засаленный тип, но Феликс голову бы дал на отсечение, что у него в кармане нож и глотку он пережмет, не моргнув глазом и даже не вспомнив об этом через час.

– Сам.

– Ну пошли...

Грязными лицами, закоулками, мимо пустых составов, мимо цыганок и пьяных шлюх, он шел за ними и понимал, что был только временщиком в чудесном мире едко-сладких грез...

Феликса привели в грязный, полуразрушенный дом. Везде сновали люди. Такие же серые, как мыши. Лица ни за что не запомнить. Или лица одинаковые? Его заперли в кладовке. Придвинули шкаф, чтобы не сбежал.

Пока вели, Феликс пытался как-нибудь зацепить взгляд своих конвоиров. Но они упорно не смотрели на него. Он даже шею вытянул, и тогда один из мужиков, сплюнув и зло выругавшись, пообещал ему «глаза вырвать». Странное ощущение, что эти люди все про него знают, не покидало Феликса.

Когда к ночи дверь открылась и он увидел старика, то сразу все понял. Его вычислили. Это ведь именно старик «держал» девицу, когда Феликс упивался своей иллюзорной властью. Вот почему не было пряного привкуса.

Старику поставили стул, обращались к нему вежливо: Корнилыч. Он был в стареньком светло-коричневом пальтишке, с палочкой, в кепке. Короткая жидкая борода придала ему легкое сходство с вождем пролетарской революции. Усадив Корнилыча, здоровенные мужики присели рядом с ним на корточки. Похоже, деда здесь не только уважали, но и побаивались.

– Ну что, хлопец, чей будешь? Ивановский? Или еще откудава?

– Местный.

Мужики недовольно загалдели.

– Да местных мы всех знаем.

Дед кивнул, и Феликса вмиг обшарили. Перед дедом на стол лег его красный паспорт.

– Посмотрим, – прошамкал дед, перелистывая страницы. Помолчал, подумал. – Настоящий? – спросил он, тыча в паспорт. – А зачем с собой таскаешь?

Феликс пожал плечами. И дед махнул рукой кому-то позади него.

– Не. Не промышлял он. Так, развлекался только.

– Значит, развлекался? Нравятся такие развлечения?

– Не знаю, – тихо ответил Феликс.

– Зато я знаю, – возвысил старик голос. – Нравятся. Ох как нравятся! Господом Богом себя, поди, возомнил.

Люди вокруг опять загалдели, реагируя, скорее, не на слова, а на тон деда. У Феликса немного закружилась голова. И вдруг он понял, что старик смотрит на него уже целую вечность.

Феликс собрался. Уставился на старика. Началось соревнование: кто кого. Корнилыч продержался минуты две, а потом... Феликс не понял, что же такое он сделал, только голова чуть не разорвалась от боли. Он обхватил голову руками и повалился на пол.

Снова вокруг послышался одобрительный гул.

– То-то, – сказал Корнилыч. – Знай наших. Петюх, иди сюды.

– А почему я?

– Потому что сказано – ты.

К деду, не глядя на него, подошел здоровенный увалень в потрепанных обносках. Одна нога у него заканчивалась толстой деревянной палкой.

– Ну-ка, хлопец, покажи, на что ты способен. – Корнилыч ткнул пальцем в одноногого.

Феликс нехотя стал смотреть на мужика и быстро вошел во вкус. Власти над человеком противиться трудно. Она затягивает и тебя самого по самое горло.

Взгляд одноногого потерял осмысленность. Он сел на пол, обхватил голову руками, стал не то плакать, не то причитать что-то неразборчиво.

– Пусть станцует, – откуда-то издалека донесся до Феликса шепот Корнилыча.

– Что? – не понял Феликс.

– Скажи ему: «Танцуй!»

– Танцуй! – приказал Феликс.

И великан стал неуклюже стучать деревянной ногой по полу. В глазах появились удалые искорки, руки выделявали в воздухе замысловатые пируэты. Танец закончился странным стуком. Деревяха отлетела. Но увалень не повалился на пол, лишившись опоры. Откуда ни возьмись, появилась настоящая нога. Правда, без ботинка.

– Кино, – отирал слезы Корнилыч, – просто кино. Ну ты даешь, парень!

Увалень пришел в себя, поглядел на ноги, обиженно схватил свое полено и замахнулся было на Феликса.

– Еще чего! – заорал на него старик, и тот быстро скрылся с глаз. – Машет он! Какой от тебя прок? По сорока рублей в день? И на кого замахиваешься? Это ведь наш клад бесценный! – Корнилыч подошел к Феликсу и оглаживал его теперь по плечам, по голове. – Разлюбезный мой! Жена-то есть?

– Нет.

– А кто есть?

– Мать умерла недавно. Больше никого.

– Повезло им, – сказал Корнилыч так, что у Феликса мурашки по телу поползли. – И тебе повезло. Ты ведь теперь с нами будешь. Теперь я буду говорить, что делать, а ты – денежки приносить. Стар я уже по двенадцать часов на перроне простаивать. Смена нужна. Да с твоими способностями мы еще много чего накумекаем... Только про дом свой забудь. Здесь теперь твой дом будет.

– Надолго?

– Насовсем, хлопец. Насовсем. А чтобы не скучно тебе было, ты ж у нас, поди, самый молодой будешь, – мы тебя к Ляльке заселим. Тоже молодая. Горячая, что кобыла...

Прошло несколько дней, прежде чем Феликс окончательно понял, куда попал. Такие места называют притонами. Но этот притон был особенный. Большая коммунальная квартира в девять комнат, постояльцы которой состояли в одной воровской шайке. Всего их было человек двадцать. Двое калек: увалень-притворщик, с которым Феликс уже познакомился, и насто-

ящий, без обеих ног. Старый цыган, управлявший целой сворой цыганок, неизвестно где обитавших, занимал отдельную комнату, ни с кем не разговаривал и не выпускал изо рта трубку, хотя Феликс так ни разу и не увидел, чтобы из нее шел хотя бы слабый дымок. Две туалетные проститутки: Лялька и Ася. Лялька, с которой теперь жил Феликс, оказалась не очень-то и молода, даже постарше Феликса немного. А Ася – та вообще была в годах. Она не столько на страсть, сколько на жалость была. Человек шесть, те самые, которые все на одно лицо и напоминали мышей, работали с Корнилычем. Тот клиента держал, а они чистили. Были еще наперсточники, бугаи, на случай, «ежели кто чужой», и один отставной чин – числившийся хозяином квартиры. Как только какие-нибудь проверочки, он надевал форму, ордена и выходил вперед. Его роль была самая короткая и играть ее выпадало редко, потому как проверки были все случайные, с милицией Корнилыч был очень дружен, платил щедро.

Феликса приволокли к Ляльке и втокнули в комнату. Повернули ключ в дверях. Самой хозяйки в комнате не было, однако повсюду витал запах не самых дешевых духов, на широком подоконнике стояли три горшочка цветущей герани, а внизу под батареей сушилось несколько пар капроновых чулок со швом. Лялька нагрязнула в половине второго, если верить часам в ее комнате. Ввалилась в дверь и пьяно захохотала:

– А тут... еще... один! Только тебя... мне сейчас... не хватало!

Она обильно приправляла речь трехэтажным матом. Лялька повалилась на кровать и как была – в красной юбке с воланом, с размазанной по щекам помадой – тихонько захрапела. Феликс в эту ночь не сомкнул глаз. Все произошедшее казалось ему наваждением, сном. Сейчас он проснется, и весь этот идиотизм кончится наконец. Завтра же, как только рассветет и местные обитатели разойдутся, он унесет отсюда ноги и даст себе клятву никогда больше не появляться ни на одном вокзале. Смешно, ей-богу, разве можно держать человека силой где бы то ни было? Да и где она, сила? Кто будет его удерживать? Неужели эта девчонка? Или калеки из соседней комнаты? Или, может быть, Корнилыч?

Только вспомнив старика, Феликс почувствовал, что по коже побежали мурашки. Он закрыл глаза и попробовал представить себе его лицо, чтобы убедить себя самого в том, что это всего-навсего хилый семидесятилетний старикашка, из которого давно песок сыплется. Но ничего не получалось. Вместо лица старика в воображении возникал оскал дикого вепря. Из открытого рта капала кипящая слюна. Глазки буравили Феликса насквозь. Он физически ощущал взгляд этого отвратительного создания.

Что-то внутри говорило ему: «Отсюда не так просто уйти, и не думай. Это заколдованный мир, в котором обитают человеческие отбросы, жестокий мир, где любое непослушание карается смертью». Хватаясь за остатки здравого смысла, Феликс пытался вспомнить о том, как он жил раньше, как схоронил мать, как выглядит его квартира, его комната. Но голова все больше и больше наполнялась туманом, а память упорно молчала, не желая ввязываться во внутреннюю борьбу.

К утру, после бессонной ночи, Феликс понял, что выхода из этого заколдованного мира не существует. В его сердце поселился парализующий страх. Как только он начинал думать о побеге, этот страх сковывал его по рукам и ногам. Сердце начинало биться через раз, дыхание становилось рваным и тяжелым.

Когда утро наполнилось гомоном и шумом уличного транспорта, Феликс наконец задремал. Заглянув к нему в комнату, Корнилыч нашел его лежащим на спине, с неестественно поднятыми плечами. Его лицо было перекошено от ужаса. Грудь часто и судорожно вздымалась и опускалась. Корнилыч хихикнул и толкнул Феликса в плечо:

– Вставай, хлопец. Работать пора!

Так началось его многолетнее рабство.

Когда вокруг тебя четыре стены и дверь заперта, заключение не слишком тяжелое бремя для человека разумного. Он может окупнуться в воспоминания, удариться в медитативные

грезы, писать книги, в конце концов. Информационный карантин даже полезен для здоровья в некоторых случаях. Совсем другое дело было – заключение Феликса.

Нет-нет, его не заперли в четырех стенах, не связали по рукам и ногам, не кололи наркотики. Он мог передвигаться, действовать, разговаривать с людьми. В этом смысле он был абсолютно свободен. Однако маленький старичок парализовал его волю. Он теперь не знал, что ему делать со своей свободой, как, впрочем, не знают многие из нас. Он ничего не хотел, ни к чему не стремился. Утром ему было лень подниматься с кровати, вечером лень отходить ко сну. Приказы Корнилыча казались благом. Что он без них? Мешок с костями, валяющийся целыми днями возле лохматой Ляльки.

Когда Корнилыч подходил к их комнате, Феликс оживлялся, предчувствуя разумную активность в течение дня. Как конь, бьющий копытом в приближении хозяина, предчувствуя разминку, Феликс спешил открыть дверь первым, выбежать навстречу. Так начинались дела.

Поначалу дела были простыми, даже элементарными. Феликс с приличного расстояния ловил взглядом какого-нибудь замечтавшегося фраера, приготовившего деньги у кассы, а кто-нибудь из серых человеко-мышей шмыгал мимо, с быстротой молнии выхватывая купюру. Через минуту после этой короткой операции Феликс отпускал пострадавшего, и тот, как правило, списывал отсутствие денег в руках на свою забывчивость или вовсе ничего не мог понять.

Никто из пострадавших не жаловался: сумки были целы, кошельки на месте, если их и потрошили человеко-мыши, то обязательно возвращали на место – в пиджаки или кошельки. Особенно удачно они промышляли возле железнодорожных касс. Вот почтенный отец семейства занимает очередь в кассу и выходит покурить на платформу, становясь как раз напротив Феликса, в десяти метрах. В правом кармане рубашки паспорта, в левом деньги, видно невооруженным глазом. Он достает пачку, вынимает сигарету и хлопает себя по карманам. Лицо его тут же прокисает, он шарит глазами по сторонам, готовый подскочить к первому встречному с просьбой прикурить. Но тут доблестный папаша напарывается на взгляд Феликса и замирает. Мимо проходят два подвыпивших гражданина и, на секунду останавливаясь возле него, чиркают спичкой, заслоняя огонек ладонями. Ладонями, плечами. Чтобы не погасла. И растворяются в толпе. Когда мужчина приходит в себя, в руке его дымится зажженная сигарета, паспорта лежат в левом кармане, а правый карман безнадежно пуст. Папаша машет руками, словно взялся полоскать белье, швыряет зажженную сигаретку на землю и яростно затаптывает. Потом бросается к ближайшему ларю, выскребая из карманов брюк мелочь, и покупает чекушку.

Мелкие торговцы, постоянно прописанные на платформах, подыгрывали им иногда. Бабульки, продающие позавчерашние букетики, купленные по дешевке в оранжерее неподалеку, часто сами рвались поучаствовать в игре. Выбирали девицу побогаче среди вокзальной голытьбы и проходу ей не давали: «Купи, милая, да купи мои замшелые цветочки. Я, мол, посмотри, бабка какая старая, а ты молодая да красивая». На это многие девки покупались. Лезли в модные сумочки и... «Ну так чего, дочка. Деньги, что ли, дома забыла?» – рассерженно и нетерпеливо частит старуха. «Кажется, да-а-а», – тянет девица. И-их!

Карманники кивали на Корнилыча с уважением. Чисто работает, гад. Смотреть приятно. За долгие годы никаких жалоб, ни единого обращения к ментам, ни единого вопля «караул!». Нет денег – и нет. Не понимает человек – почему нет. Были же вот только что. И никто не подходил. Даже мимо никто не пробежал. Вытащить не могли. Выходит, сам выронил, ворона. И давай искать дырки в карманах штанов, в сумочках, в кошелках.

Все это Феликса забавляло, вот только не было в этом больше привкуса власти. Власть теперь вся была у Корнилыча. И охота его из алой превратилась в серую, будничную...

Вскоре у Корнилыча в подручных замелькал один психопат болтливый. Слова из него сыпались, как горох из мешка, стучали по голове собеседника бессмысленно, но непомерно часто. Денек Корнилыч с ним шептался, а потом псих этот пропал. Вернулся через неделю,

стоял у двери и пританцовывал: «Нашел, нашел, нашел, нашел. То, что надо, штучка так штучка, то, что надо...» И посыпал своим горохом бессмысленным чаще обычного...

Задумался после разговора с ним Корнилыч. Дельце это он давно обмозговал, только рисковать собственной шкурой не хотелось. А Филька может, чего ему? В крайнем случае – не выдаст. Даже если захочет...

6 (Феликс)

Последний дом окнами упирался в забор. На скамеечке возле подъезда сидели старушки – губы распустили, раскисли. Скучно. День стоит, редко кто показывается, чего уж тут хорохориться. Вот вечером, когда с работы пойдут...

– Заняться нечем? – резко окликнула их с порога седовласая коренастая женщина.

– Здравствуйте, Варвара Семеновна, – заискивающе принялись кивать бабки, стараясь втянуть животы и вжать головы в плечи.

Варвара Семеновна, молча кивнув им и поджав губы, натянула сиреневые перчатки и гордо прошествовала мимо.

– Ай, Господи. Корчит из себя.

– Ага, ага, – часто закивала другая, испуганно глядя вслед удаляющейся Варваре. – Прямо-таки дама. Как будто мы лыком шиты. А грозная какая! Слышь, боюсь я ее че-то, как свекра покойного...

– Все деньги. Оставил бы мне муж, сколько ей, я бы еще не так... Во! Ясно дело – жулик был. Мой-то вон честный, от бутылки помер.

– И мой, и мой, – снова закивала вторая.

У Варвары Семеновны денег действительно хватало. Муж был большим чиновником, работал в министерстве. Скопили на безбедную старость. Жаль, муж, царствие ему небесное, не дожил. Сразу после пенсии и очоурился. Все водка проклятая...

Шествуя мимо детской площадки, где неряшливые мамы болтались все утро с надоевшими им до смерти гомонящими детьми, Варвара Семеновна еще раз возблагодарила Бога за то, что не послал ей кару небесную в виде деточек. Сначала, пока молодая была да глупая, переживала, завидовала подругам, цацкавшимся с пеленочками да бутылочками. Но их карапузы быстро превращались в нескладных прыщавых подростков, приносящих домой двойки и дурные манеры. И зависть улетучилась как дым, уступив место чувству облегчения – хорошо не у меня! А впоследствии подросшие еще лет на десять бывшие малолетки и вовсе начинали с родителями настоящую войну за какие-то свои никому не понятные права, за метры в малогабаритных квартирах, за собственных народившихся отпрысков. Дикость.

Бог миловал Варвару, лишив ее деточек. Подруги, упивавшиеся своим материнством, теперь где? На кладбище. А почему? Да потому, что все соки из них выпили, все жилы вытянули деточки-то родные. А она идет по парку гулять в кожаных сапожках да в кашемировом пальто. И на душе у нее спокойно, и выглядит она не как замызганная старушенция, прущая тяжелые сумки на всю семью, а как женщина, знающая себе цену. Как там вчера говорил Коля?..

Ах какой человек приятный этот Коля. Интеллигент, художник. Правда, с легкой придуриью, но на то он и художник. Обещал пригласить на персональную выставку, а потом на банкет от Союза художников. Познакомились они неделю назад здесь, в парке. Он стоял перед мольбертом в лиловом берете. Такие, конечно, нынешние молодые люди уже не носят. Но она еще помнила старые времена...

Она не удержалась – заглянула через плечо. На мольберте были неопределенные мазки: яркие, размытые, обещающие неповторимый осенний пейзаж их парка.

– Сколько может стоить ваша картина впоследствии? – спросила Варвара Семеновна и поправила перчатки.

Ей хотелось показать, что она не старуха, коих в парке тьма, что она разбирается в живописи, что она может себе позволить купить понравившееся полотно, в конце концов. В их рай-

оне, а тем более в парке, так редко появлялись трезвые мужчины... А тем более люди ее круга. Ей хотелось соответствовать.

И все-таки он был с легкой придурыю, этот Коля. Сыпал фразами, как горохом. Слова не давал вставить. Потом спохватился:

- Вас, наверно, ждут?
- Я вдова, кому же меня ждать?
- Дети, внуки...
- Бог миловал!

Так она ему и сказала: «Бог миловал». И он понял. Даже улыбнулся ей так солнечно. А потом целую неделю названивал насчет предстоящей выставки. «Я вас не застал в четыре...» – «В это время я обычно в парке...» – «Вы не брали трубку? Что случилось?» – «Да нет же! Просто по утрам я обычно выхожу в магазин». – «Какое у вас интересное расписание!»

Варвара Семеновна шла по узенькой дорожке в сторону сберкассы. Сегодня давали пенсию. Она заранее предупредила Колю, чтобы не звонил с одиннадцати до часу. Получив деньги, она любила зайти в кафе-мороженое, в магазин тканей на углу и обязательно – в кондитерский. Ей нравилось расхаживать так, пока улицы пусты, пока дети не вырвались из соседней школы, оглашая округу отвратительными криками и визгом.

Вдруг через дорогу у самой сберкассы она заметила Колю. Он был в модном костюме, при галстуке. Неужели перенесли выставку? Боже мой, успеет ли она собраться? «Ко-о-ля!» – закричала она, ступая на мостовую.

Это было последнее, что она запомнила из этого странного дня.

Она пришла в себя глубоким вечером, когда за окном весело мигали звезды. «Ах», – только и сказала она, вываливаясь из забытья в темноту собственной комнаты. «Ох», – сказала она четверть часа спустя, все еще ровным счетом ничего не понимая, и зажгла свет.

В комнате ничего не изменилось. Только было несказанно душно и слегка пахло табаком. Может быть, с улицы тянуло? Варвара Семеновна выглянула из окна. Скамеечка была пуста. Она посмотрела на часы и если бы могла, то обязательно присвистнула бы. А так получилось – только фыркнула, как это делает соседская кошка, когда она проходит мимо нее по утрам. Несносная тварь.

В голове у Варвары Семеновны прояснялось все больше и больше. Сегодня, то есть вчера уже, конечно – вчера, ведь сейчас половина первого ночи, вчера она должна была получить пенсию. Деньги всегда были лейтмотивом любых ее рассуждений. Она могла позабыть обо всем на свете, но получить пенсию день в день она никогда не забывала. Не могла забыть! Может быть, у нее начался склероз? Говорят, с возрастом это случается со всеми. Конечно. Разумеется. У нее склероз. Поэтому то она и позабыла, что делала днем и почему так долго дремала в кресле.

Варвара Семеновна полезла в сумочку, вытащила портмоне, шелкнула замочком. Пусто. Руки у нее затряслись так сильно, что портмоне полетело на пол. Она никогда не тратила все до копейки. Была у нее такая примета – в кошельке всегда должен оставаться по крайней мере рубль. Но на этот раз в портмоне не было не только пенсии, но и даже мелочи, даже какой-нибудь завалившейся за подкладку копейки.

Она села на стул и попыталась вспомнить. Да, да, она шла через парк. Потом увидела Колю. Перешла дорогу. Нет, ей показалось. Коли там не было. Слишком много она о нем в последнее время думала. Вот и померещилось. Да еще с ее зрением... Коли там не было, а был человек. Лица никак не вспомнить. Что он ей сказал? Что-то такое сказал, и довольно убедительно. Так сказал, что она поняла – он прав. Абсолютно прав. Только бы вспомнить теперь – в чем прав? И они пошли...

Господи! Тут в ее памяти замелькали каруселью картинки одна страшнее другой. Она с этим человеком, ну с тем самым, который был абсолютно прав, идет в сберкассе, получает

деньги и отдает ему. Не может быть! Не может... Но она это делает. Потом он еще что-то говорит ей, и они идут, идут по улице, идут... к ней домой! Он говорит, а она лезет в комод... Потом они снова идут в сберкассу... Потом какие-то люди, а он снова говорит... Люди шарят за картиной... в шкапулке... И только одна мысль прочно сидит в ее голове: «Им нужно все отдать. Все-все отдать. Обязательно».

Покрывшись холодным потом, Варвара Семеновна на негнущихся ногах прошла к комоду, выдвинула нижний ящик и запустила руку под шуршащее, накрахмаленное нижнее белье. Ну конечно. Все в порядке. Это был только страшный сон. Она ведь задремала в кресле. Вот она, сберкнижка. Вот она, ее серенькая утица, несущая пусть не золотые, но по крайней мере серебряные яички. Варвара Семеновна осторожно погладила корочку сберегательной книжки. Кругленькая сумма, отложенная еще в те времена, когда муж был в силе, давала ей теперь возможность ежемесячно снимать процентик. Пусть маленький, но люди за такие деньги работают не один час и не два. Она аккуратно открыла книжечку. В графе расход стояла кругленькая сумма. Варвара Семеновна пошарила очки, но потом прищурилась и увидела...

Получалось, что вчера она сняла с книжки все деньги. Варвара водила пальцем слева направо и справа налево, но от этого ничего не менялось. Чернила не испарялись, вчерашнее число не исчезало. В остатке болтался один рубль.

Сердце прихватило не на шутку. Но Варвара Семеновна была сейчас глуха ко всему, что не касалось ее денег. Она бросила книжку на пол, рядом с портмоне, и подошла к трюмо. Шкапулка оказалась пуста. Равно как и конвертик с двадцатью долларами, лежащий на черный день в буфете под большим расписным чайником, равно как и тайничок за картиной, висящей на стене.

Тупо уставившись в одну точку, Варвара Семеновна поняла, что сейчас умрет. Сердце ныло безостановочно. Ее обобрали, напоили чем-то и обобрали. До нитки. Она было бросилась к телефону, но на полпути остановилась и сникла. Сама ведь привела домой, сама все отдала. Никто не угрожал, никто даже не просил. Все сама.

Ей хотелось завывать белугой. Выть без остановки несколько часов, пока не наступит смерть. Она представила, как через неделю или даже больше ее хватятся соседи. Неизвестно, сколько пройдет времени, пока ее найдут. Она будет лежать на полу, вздувшаяся и вонючая. И, брезгливо зажав нос, милиционер вызовет работников морга. А потом приедут тупые равнодушные лбы со стеклянными глазами... И, не обмыв, не прочитав молитву, закопают в яму, а может быть, еще и надругаются над ее телом...

Думая об этом, она расхаживала по комнате. Душу леденил ужас. Она не заметила, как вышла из дома и спустилась вниз. Варвара Семеновна мерила шагами улицу и считала про себя, чтобы окончательно не сойти с ума от непрошенных мыслей о смерти, о морге. Из кустов ей навстречу вышла крупная тощая псина с проплешиной на спине и слабо завияляла хвостом, не питая, пожалуй, давно никаких надежд на человеческое сочувствие. Варвара Семеновна брезгливо отпрянула, и собака, опустив хвост, пошла обратно, куда-то в черную ночь...

Неожиданно женщине пришло в голову, что... Конечно. Вот же как все просто! Тогда больше никто никогда... Тогда, если что с ней случится – она будет выть... Обязательно будет выть – и все услышат.

– Эй, – взвизгнув, окликнула она собаку как человека, а потом, опомнившись, сложила губы трубочкой и часто зачмокала.

Собака обернулась и неуверенно направилась к женщине.

– Иди, иди ко мне, моя радость, – тараторила Варвара Семеновна, отступая и зовя собаку за собой, – иди, роденькая моя. Пойдем со мной, а? Будешь жить у меня, а? О, мы с тобой так заживем! Я буду покупать тебе косточки в кулинарии, там есть, я видела. Ну иди же ко мне, – она неожиданно заплакала, – иди. Они тогда оставят меня в покое. У меня все есть. Нам хватит на двоих. Иди, я тебя покормлю...

Возвращающиеся домой за полночь подвыпившие прохожие с удивлением смотрели, как маленькая крепкая старушка, подскакивая, быстро двигается в сторону дома, упирающегося в забор, а вслед за ней вскачь радостно несется огромная тощая дворняга, тоже, вероятно, не первой молодости. . .

Богатеньких одиноких старушек находил Генка Шлык – племянник Корнилыча. По пьяни он мог биться в истерике, что баба, брызгать слюной и плакать навзрыд о чем-то никому не понятном. Дома он позволял себе расслабиться. Особенно после удачной операции. Напиваясь, говорил, что старух ему жаль, что все, что он делает с ними, – отвратительно, что он их почти любит и душу перед ними выворачивает наизнанку, а Корнилыч платит ему за такую поганую работу всего семь процентов. «Прости меня, Марья Игнатьевна, – рыдал он по очередной обобранной бабушке. – Ты ко мне как к родному, а я, падла, под монастырь тебя подвел. Под высокий белый монастырь».

Но Генка никогда не углублялся в свои страдания. Через минуту он уже ржал как конь над пошлым анекдотом, который рассказывал цыган, и спроси его, кто такая Марья Игнатьевна, – ни за что бы не вспомнил.

В деле он был настоящий артист. Профессионал. Пользуясь наводками мелкой шпаны, он дня два наблюдал объект. А на третий подкатывал к нему именно в том виде, который бабушка предпочитала. За последнее время он побывал и детдомовским сиротой, и художником Колей с надвигающейся персональной выставкой, и моряком Сеней, уходящим на днях в загранку, и даже молодым альфонсом-импотентом. Он легко преображался в махрового еврея или ярого антисемита с прокоммунистическими взглядами, в хохла или татарина, в немца или финна – в зависимости от того, кого бабушки больше любили. Роба у него была – на все лады. Ошибки он исправлял быстро. По ходу представления. И если бы Генка играл в театре, а не на улице, то давно получил бы звание народного артиста.

Поскольку Генка приходился Корнилычу вроде как родней, Феликс часто наводил разговор на его обожаемого дядюшку. Но каждый раз Генкауворачивался. Он бил себя кулаком в грудь, хрипел про Корнилыча какую-то правду: «Никому не говорил – тебе скажу», – но не сообщил Феликсу ничего нового о старике. Ничего такого, за что можно было бы зацепиться, чтобы подумать об освобождении.

За год своей привокзальной жизни Феликс узнал о старике лишь то, что знали остальные.

7

(Корнилыч)

Когда на блокадный Ленинград сыпались бомбы, Корнилыч носил обычное имя-отчество и, как все, сбрасывал зажигалки с крыш. На фронт его не взяли по причине не то чтобы ослабленного, а вообще никакого здоровья плюс близорукости. До войны он был школьным учителем, а теперь стоял у станка, падая от усталости, засыпал стоя, и чем дальше, тем больше не понимал, зачем он живет, кто он такой и что происходит вокруг.

Жил он у родителей жены, горячих патриотов коммунистической державы и больших охотников до изучения последних речей Иосифа Виссарионовича. Жил – как у Христа за пазухой. У них была просторная квартира, куда он и перебрался сразу после регистрации брака и шумной свадьбы, на которую съехались все родственники невесты до пятого колена. Многие приехали из других городов, поэтому о первой брачной ночи несколько дней не могло быть и речи. Квартира превратилась в полевой лагерь. Спали на кроватях, диванах, на полу в каждой комнате человек по пять. Включая и комнату молодоженов. Только через три дня родственники, уничтожив все съестные запасы хозяев, разъехались, обещая вернуться к рождению наследника.

Через девять месяцев и три дня родилась наследница, и снова их дом превратился в место паломничества. Однако теперь робкий Корнилыч настоял, чтобы в комнате новорожденной никто не храпел, да и вообще потребовал оставить ребенка в покое. Это был первый случай, когда он подал голос и выказал в семье свою волю, чем очень порадовал тестя и раздосадовал тещу.

Жену свою он, несмотря ни на что, любил. Несмотря на шумных родственников, на то, что теща в день получки и аванса поджидала его, поджав губы, на кухне и снисходительно пересчитывала деньги, которые он отдавал ей беспрекословно все до последней копейки. Потом она журила закомплексованного очкарика-зятя за то, что не умеет пробиваться в жизни, и со вздохом прятала его получку на огромной, как подушка, груди.

Может быть, эту легенду придумал сам Корнилыч – никто не знал. Ее пересказывали друг другу обитатели привокзального дома, не вдаваясь в подробности и не задумываясь о том, насколько она подлинная.

Когда началась война, в хлебосольном семействе Корнилыча было столько снеди, что хватило бы на год ила даже полтора, при ее экономном потреблении. Но ни теща, ни тесть и представить себе не могли, что война продлится так долго. Тем более – никто из них тогда не знал страшного слова «блокада».

Первой жертвой голодной зимы стала теща. Она лежала в своей кровати белая и распухшая вдвое, синяя от холода, царившего в большой квартире. Ее смогли отвезти на кладбище, два дня рыли могилу обливающийся слезами, обессиливший тесть и доходяга Корнилыч. Получилось неглубоко, но уж как получилось.

Тесть сильно замерз по дороге с кладбища и умер спустя две недели после жены от воспаления легких. Корнилыч свез его в общественную могилу. Долбить мерзлую землю сил не было. Он, не привычный к физическому труду, впервые оказался на заводе. В голове от усталости стоял сплошной туман, ноги подкашивались, и он думал только о том, как бы не упасть на улице и не замерзнуть.

Жена умерла неожиданно для него. Она, как всегда, ни на что не жаловалась, ничего не просила. Он не догадывался, что она каждый день подсовывала Соне свой кусочек хлеба. Жена умерла во сне. Он тогда заплакал в первый и единственный раз в своей жизни. Заплакал, как баба, всхлипывая, взвизгивая и размазывая кулаком горячие слезы по небритым щекам. Они все умрут, понял Корнилыч. К чему тогда этот бессмысленный, выматывающий труд,

к чему сопротивление? Он не пойдет сегодня на работу. Не оставит дочку одну. Они сядут с ней, обнимутся и будут ждать смерти. Лучше уж так.

Но трехлетняя Соня не пожелала сидеть с папой в обнимку в ожидании неизвестно чего. Как только проснулась, она попросила есть. Корнилыч попытался сделать вид, что спит, что не слышит, но она тормошила его за плечо и старательно выговаривала: «Папочка, папочка, Соня кушать хочет». Через пятнадцать минут он не выдержал, снес Соню в бомбоубежище, усадил рядом с соседкой и пошел по городу куда глаза глядят.

Он готов был зарезать за кусок хлеба, перегрызть горло, но убивать было некого, навстречу ему попадались такие же, как он, люди с голодными глазами. У Пяти углов он услышал слабый стук в окно, кто-то звал его. Опухшая от голода старуха с глазами, полными мольбы, просила хлеба. Наверно, сошла с ума, подумал он и пошел к выходу, но женщина ухватила его за рукав и все повторяла: «Пожалуйста, у вас же много, дайте мне кусочек, я знаю – у вас много. А я вам...» Он хотел вырвать руку, уйти, но тут заметил, что в руках она держит массивное золотое кольцо с необычным голубым камнем.

Корнилыч замер и затаил дыхание. Теперь было кого убивать, но не было сил даже шевельнуться. Он не мог отвести глаз от кольца. Протянул было руку, но старуха с удивительным для ее лет проворством отдернула свою. «Нет, вы мне сначала хлебушек покажите. Есть ведь у вас? Есть! Я знаю!» И вот тогда случилась невероятная вещь. Каруселью перед его мысленным взором промелькнули страшные картины: мертвая распухшая теща, холодная жена, маленький, скорчившийся в постели тесть, а потом – глаза дочери, тоненькой девочки с прозрачной кожей. Это кольцо можно обменять на хлеб. Нужно только дать по голове этой безумной бабке, схватить кольцо и бежать отсюда сломя голову. Она все равно умрет. И так уже на ладан дышит. А Сонечке еще жить да жить. Был бы только хлеб...

Но он не мог двинуться с места. Он посмотрел старухе в глаза, мысленно умоляя ее отдать кольцо, протянул вперед пустую руку и сказал: «У меня есть хлеб. Вот». И тут...

Она выронила кольцо и радостно запрыгала вокруг него. Потом схватила несуществующий кусок хлеба с его ладони и стала грызть его, хрюкая и повизгивая, как уличный пес. Не сводя с нее глаз, Корнилыч нагнулся, поднял кольцо и, выскочив на улицу, побежал по разбитому тротуару под яростные завывания сирены и грохот далеких взрывов.

Он долго не мог обменять кольцо на хлеб. Хлеб нужен был всем, а драгоценности на обмен предлагали тоннами. Но все-таки ему повезло. Мужчина в военной форме, с портупеей, в добротном пальто внакидку, заинтересовался его кольцом.

– Украл? – прищурившись, спросил он, разглядывая попеременно то кольцо, то тощего очкарика.

– Теща умерла, осталось.

– Врешь, поди.

– Нет, не вру.

– Смотри, конфисковую сейчас... – Мужчина не успел договорить.

Корнилыч жадно ловил его взгляд, в ужасе думая о том, что попался, что полоумная бабка заявила на него, и вот его поймали.

В памяти снова всплыли глаза дочери, и он, пытаясь придать голосу угрожающую интонацию, сказал: «Отдай!»

Интонация получилась скорее жалкой, чем угрожающей, но мужчина вдруг выпятил грудь, как на параде, приложил руку к козырьку и ответил: «Есть!», протягивая Корнилычу пакет с хлебом. Ни минуты не колеблясь, Корнилыч схватил хлеб и затерялся в толпе.

Он кормил Сонечку с ладони, отщипывая от четвертушки буханки малюсенькие кусочки хлеба. «Не ешь быстро, – умолял он. – Так никогда не наешься».

Тогда-то она и рассказала ему, как мама каждый день отдавала ей свой кусочек. Корнилыч слушал краем уха. Больше всего его занимало то, что произошло в течение этого дня. Он

пытался вспомнить каждую мелочь. Ну старуха явно выжила из ума, от нее можно было ожидать всего, чего угодно. Но военный! Он ведь не мог оказаться психом. Хотя, побывав в боях... Постой, он ведь откормленный был, розовощекий. В каких боях? Да он пороху и не нюхал. Выглядел – как с курорта.

Из глубин его естества поднимался неведомый восторг, он вскочил, стал приплясывать вокруг чудом уцелевшего стола. Хотелось немедленно с кем-нибудь поговорить. Корнилыч обернулся к дочке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.